

УИЛЬЯМ
САРОЯН

*Приключения
Весли Джексона*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Уильям Сароян

Приключения Весли Джексона

«Азбука-Аттикус»

1946

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Сароян У.

Приключения Весли Джексона / У. Сароян — «Азбука-Аттикус»,
1946 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-11869-0

«Грустное и солнечное» творчество американского писателя Уильяма Сарояна (1908–1981), автора романов «Человеческая комедия», «Мама, я люблю тебя» и других, чье имя стоит в одном ряду с такими титанами мировой литературы, как Фолкнер, Стейнбек, Хемингуэй, хорошо известно русским читателям. В настоящее издание вошел самый известный его роман «Приключения Весли Джексона», полный бурлескных, комических ситуаций, проводя через которые своего 20-летнего героя, автор надеется помочь ему «стать Человеком независимо от того, как сложатся обстоятельства».

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-389-11869-0

© Сароян У., 1946
© Азбука-Аттикус, 1946

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	13
Глава 4	21
Глава 5	25
Глава 6	28
Глава 7	32
Глава 8	36
Глава 9	40
Глава 10	43
Глава 11	47
Глава 12	50
Глава 13	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Уильям Сароян

Приключения Весли Джексона

© Л. Шифферс (наследники), перевод, 2016

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

* * *

Глава 1

Весли поет «Валенсию» и получает важное письмо

Зовут меня Весли Джексон, от роду мне девятнадцать лет, а моя любимая песня – «Валенсия». Каждый, по-моему, рано или поздно обзаводится любимой песней. Я-то знаю, что нашел свою, потому что без устали ее распеваю и слышится она мне все время, даже во сне. Люблю, когда человек загремит во весь голос:

Валенсия!
В полусне
Все слышится мне,
Ты тихо зовешь меня.
Валенсия!
Тра-та-та-та,
Тра-та-та-та,
Тра-та-та-та, та-та!

Без песни нам не обойтись в этом мире, потому что у каждого какое-нибудь горе, а горе с песней неразлучно.

Мой приятель Гарри Кук поет: «Будь на это власть моя, вы бы старости не знали». Поет он эту песню тем, кого не любит, но хочет этим сказать, что, будь на то его воля, их бы давно на свете не было, а не то, что он желает им вечной молодости. Вместе с тем поет он эту песню будто бы в смысле, как задумал ее автор, – будто обращается к своей нареченной, сокрушаясь, что не в его власти сохранить ей навеки молодость и красоту. Тот, на кого злится Гарри, прекрасно понимает, что он хочет сказать, да только что ж тут поделаешь? Ведь песня-то ясная, поди докажи, что Гарри поет ее кому-то другому, а не своей суженой. Нету такого закона, чтобы нельзя было петь песни своей милой.

А Ник поет другое:

О Боже, прояви всю доброту свою,
Возьми меня к себе, я жить хочу в раю.
Мне ангелы давно кивают с высоты,
А здесь мне чуждо все среди мирской тщеты!

Эту песню Ник тоже поет двояко – серьезно и в насмешку. Вам слышится, он будто говорит: «Не нравится мне эта жизнь», но в то же время вам ясно, что он хочет сказать еще и другое: «Жизнь эта мне не нравится, но расставаться с ней мне тоже неохота, и если уж мне суждено ее покинуть, так пусть я по крайней мере попаду в какое-нибудь местечко получше, пусть это будут небеса». Вы понимаете, что Ник тоскует по какой-то иной, неведомой жизни, но вы при этом также чувствуете, что он посмеивается над своей тоской.

Услышу я, как Ник поет эту песню, или просто вспомню о ней, и до того тяжело делается на душе, что хочется стать кем-нибудь другим – не тем, кто я есть на самом деле. Пусть я буду хоть китайцем или эскимосом, но только не американцем, рожденным в Сан-Франциско, чья мать родом из Дублина и отец родом из Лондона повстречались в Сан-Франциско, полюбили друг друга, поженились и родили двоих сыновей – меня да моего брата Вирджила. Тошно жить становится, как услышишь, что Ник Калли просит Господа Бога взять его на небо. У каждого, кого я знаю, есть своя песня, которая о чем-то ему напоминает, что-то особенное значит для

него. Интересно, какие песни поют для себя знаменитые люди, когда остаются одни? Что поешь в церкви – это одно, а что поешь наедине с собой – это совсем другое.

Вот я сказал вам, как меня зовут, сколько мне лет и какая моя любимая песня, но вы не знаете обо мне самого главного: я очень некрасив. Не то что так себе, как некоторые парни, а просто самый настоящий урод. Почему это так, я не знаю, но это факт, и ничего тут не поделаешь. Каждый раз, когда бреюсь, я бываю ошеломлен. Ни за что бы не поверил, что могут быть на свете такие уроды, но вот один из них – прямо передо мной, и это не кто иной, как я сам, Весли Джексон, рядовой, порядковый номер 39339993. Я и не знал, что я так безобразен, пока не начал бриться – года три назад – и любоваться на себя в зеркало каждые два-три дня. Вот поэтому-то я так и не люблю бриться. Я не против бритья вообще, я не против опрятности, но, когда бреешься, приходится глядеться в зеркало, и от того, что я в нем вижу, мне так становится тошно, что уж и эскимосом быть не хочется, а просто хочется умереть.

Из-за этого я и решил три года тому назад, что мне лучше держаться подальше от людей. Я по долгу гулял и запоем читал книги. Прогулки способствуют размышлению, а чтение приобщает вас к мыслям других людей, большей частью, вероятно, тоже уродливых. После того как вдоволь нагуляешься, вдоволь начитаешься и вдоволь поразмыслишь, начинаешь разговаривать сам с собой, точнее говоря, не с собой, а с теми людьми, которых встречаешь в книгах. А потом вдруг до того захочет ся поговорить с кем-нибудь живым, но, увы, никто не понимает, что вы хотите сказать, потому что люди не читали книг, которые читали вы, и не думали о вещах, о которых думали вы, и вас свободно могут принять за сумасшедшего. Может быть, это и действительно так, но кому известно, кто из нас сумасшедший, а кто нет? Я бы не рискнул назвать кого бы то ни было сумасшедшим. Я боюсь ошибиться.

Вслед за этим вы приходите к мысли, что нужно написать кому-нибудь письмо. Я так и сделал. Вернее, я решил, что нужно написать, только не знал, кому бы. Родители мои давно разошлись. Мама уехала, и я с ней с тех пор не общался.

А отец – черт возьми! – я просто не знал, где он.

Брат мой Вирджил – ну что можно сказать тринадцатилетнему парнишке, даже если хорошо его знаешь, а я своего брата и вовсе не знал. С таким же успехом можно написать президенту Соединенных Штатов – то-то бы он удивился!

Больше я никого не знал настолько, чтобы ему написать, и в конце концов послал письмо миссис Фоукс, учительнице воскресной школы в Сан-Франциско.

Отец заставлял меня ходить в воскресную школу. Он признавал, что сбился с пути истинного, и очень боялся, как бы я не сбился тоже, если мне не помогут добрые люди. Он считал, что я должен найти путь к спасению для нас обоих, но, черт побери, ведь пьяницей-то был он, а не я. Пусть бы сам и ходил в воскресную школу.

Я написал миссис Фоукс большущее письмо и рас сказал ей кое-что из своей жизни за те десять лет, что мы с ней не видались. Не думаю, чтобы она меня помнила, но мне казалось, что я непременно должен написать хоть кому-нибудь, и вот я написал письмо ей. Что толку служить в армии, если ни с кем не переписываешься? Ответит миссис Фоукс – ладно, а не ответит – тоже хорошо.

Однажды вечером, спустя примерно месяц после того, как я послал письмо миссис Фоукс, в нашей роте при раздаче почты поднялась большая суматоха. Оказывается, пришло письмо на мое имя, и ротный писарь Вернон Хигби решил позабавиться. Вместо того чтобы просто отдать мне письмо, как и всем остальным, он заявил, что хочет вручить его мне официально. Ребятам эта мысль понравилась, я тоже не возражал, и вот они расступились передо мной, образуя проход, и я прошел мимо них на помост к Вернону, что от меня и требовалось. Я видел, что они решили позабавиться, а когда солдаты захотят позабавиться, лучше им не перечить, потому что, если вы воспротивитесь, они только еще пуще разойдутся и вам же хуже будет. А если им не мешать, вы и сами сможете повеселиться. Смеясь над вами, над кем сме-

ются люди? Я ведь сам смеюсь над собой, так почему же армейским ребятам тоже надо мной не посмеяться? Каждый, видно, научается смеяться над собой, когда ему исполнится восемнадцать лет.

Так вот, когда я ступил на помост рядом с Верноном, все развеселились и захохотали, и Вернон поднял руку, как самый заправский оратор, чтобы овладеть вниманием слушателей.

– Тише, ребята! – сказал он. – На ваших глазах происходит самое знаменательное событие в моей карьере почтового писаря роты «Б». Мне выпала честь объявить, что через американскую почтовую сеть к нам поступило письмо, и еще более высокую честь имею объявить, что это письмо адресовано рядовому Весли Джексону. Да здравствует Весли Джексон, ура!

Ребята трижды прокричали «ура», а мне не терпелось узнать, что такое могла написать миссис Фоукс. И все время мне слышалось, будто какой-то голос во мне громко поет «Валенсию».

После «ура» кто-то спросил:

– А от кого письмо?

А кто-то другой сказал:

– Не может быть, чтобы Весли завел себе девчонку.

Но меня это ничуть не задело.

– Не все сразу, – сказал Вернон Хигби. – С милостивого разрешения рядового Джексона я сейчас сообщу вам, от кого письмо. Что касается вопроса, имеется ли у рядового Джексона девушка, то, каков бы ни был ответ, положительный или отрицательный, к настоящей церемонии это никакого отношения не имеет. Письмо, которое я держу в руках, является частной собственностью рядового Джексона, что со всей очевидностью явствует из адреса на конверте с указанием звания – рядовой, имени и фамилии – Весли Джексон, армейский порядковый номер – 39339993, – все в соответствии с уставом армии Соединенных Штатов. Да здравствует устав!

Ребята прокричали «ура» в честь устава, после чего Вернон сказал:

– Итак, от кого получено письмо? Письмо получено от пресвитерианской церкви на Седьмой авеню в Сан-Франциско.

Тут Вернон обратился ко мне.

– Рядовой Джексон, – сказал он, – я счастлив вручить вам от имени нации это письмо, направленное вам пресвитерианской церковью на Седьмой авеню города Сан-Франциско, города, близкого моему сердцу, расположенного всего в девяти милях через залив от моего родного дома в Сан-Леандро и почти в двухстах милях от нашего лагеря.

Вернон щелкнул каблуками и стал навтыяжку. И почему-то все другие ребята, которые толпились вокруг и ждали своих писем, а было их человек сто, дружно сделали то же самое. Все они разом щелкнули каблуками и стали навтыяжку – не по примеру Вернона, а одновременно с ним, подобно тому как разом взлетает с телеграфной проволоки стайка воробьев. Все это, конечно, было шуткой, и я ничего не имел против. Мне это даже немножко нравилось, потому что никогда раньше не видел я всех этих ребят такими молодцеватыми, даже на параде! Забавы ради любой парнишка может проделать все что угодно самым искусным образом. Ну а кроме того, ведь я получил ответ от миссис Фоукс и скоро смогу его прочесть.

Вернон поклонился, протянул мне письмо, и все кругом разразились таким громким хохотом, какой можно услышать только в армии или разве еще в тюрьме. Этот хохот гремел мне вдогонку, пока я бежал в лес, куда частенько ходил, живя в этом лагере. Прибежав в лес, я сел под деревом, положил письмо перед собой на землю и долго им любовался.

Это было первое письмо, которое я получил в своей жизни: моя фамилия и все прочее было напечатано на машинке – о Валенсия!

Немного погодя я вскрыл конверт, чтобы узнать наконец, что же мне пишет миссис Фоукс, но письмо оказалось не от нее, а от священника нашей церкви. Он с прискорбием сооб-

щал мне, что миссис Фоукс скончалась. Она почила вечным сном три месяца тому назад, на семьдесят втором году своей жизни. Он позволил себе вскрыть мое письмо и читал и перечитывал его много раз. Он сожалеет, что ему не приходилось встречаться со мной, ибо, судя по моему письму, я примерный христианский юноша (а я-то и не подозревал – как был бы рад отец услышать такой отзыв!). Священник писал, что будет молиться обо мне, и убеждал меня тоже молиться, но не просил, чтоб я молился за него. Там говорилось еще многое другое, и я читал, а из глаз моих бежали слезы, потому что миссис Фоукс умерла. Под конец священник писал:

«По тщательном размышлении я решил кое-что Вам поведать. Надеюсь, Вы примете это с достоинством и смирением: знайте же, Вы – писатель! Сам я пишу вот уже скоро сорок лет и должен сказать, что хотя мой труд и не остался втуне (лет пятнадцать тому назад я издал за свой собственный счет небольшую духовную книжку под названием „Улыбайтесь, хотя бы сквозь слезы“, и преподобный Р. Дж. Фезеруелл из Сосалито, Калифорния, избрал ее предметом своей проповеди, в которой сказал: „Вот она, долгожданная книга, книга, в кротком свете которой так сильно нуждается наш здешний темный мир“), – хотя, говорю я, мой труд и не остался втуне, но я должен сказать, что Вы пишете лучше меня, и поэтому писать Вы обязаны. Пишите, мальчик мой, пишите!»

Сначала я подумал, что этот человек не в своем уме, но потом решил воспользоваться его советом. Вот так и случилось, что я пишу эту повесть, где рассказываю главным образом о самом себе, так как никого больше по-настоящему не знаю, но касаюсь также и других, поскольку они мне знакомы.

В письме своем к миссис Фоукс я был весьма осторожен в выражениях – да и в мыслях, мне кажется, тоже, – но теперь мне это ни к чему, я намерен высказать все, что найду нужным, и будь что будет.

Глава 2

Весли объясняет, что делает с людьми армия, высказывает некоторые мысли, которые считает правильными, и никак не может уснуть

Я сказал, что письмо, полученное мною от священника в ответ на мое письмо к миссис Фоукс, было единственным, которое я получил в своей жизни, но это не совсем правда, хотя и не ложь. Дело в том, что я однажды получил письмо от президента Соединенных Штатов, но я не думаю, чтобы он об этом знал, так что это письмо можно не считать. Во всяком случае, оно не было личным. Искренним оно тоже, по-моему, не было. Я прочел слово «Привет» и удивился, почему не «Прощайте», поскольку речь шла о том, что в скором времени я окажусь в рядах американской армии.

Говорят, что если вы умеете дышать, то уже годны к военной службе, а я дышал как раз как полагается. Много всего я наслышался про армию, и смешного и гадкого, но в конце концов все сводилось к одному: не миновать мне вскорости солдатского мундира, так как я под судом не состоял, болен не был, сердце у меня было здоровое, кровяное давление нормальное, все пальцы на руках и ногах, глаза и уши и другие части тела, данные мне от природы, – в целостности и сохранности. Выходило, что я рожден быть солдатом и лишь временно околачиваюсь на взморье и в Публичной библиотеке Сан-Франциско в ожидании, пока объявят войну. Несмотря на это, я не был расположен идти в армию. Я был расположен не идти.

Одно время я подумывал сбежать куда-нибудь в горы и переждать, пока война кончится. Однажды я даже собрал кое-какие вещи, связал их в узел и сел в трамвай, чтобы выехать подальше за город. Потом я вышел на автостраду и на попутной машине проехал шестьдесят миль к югу, до Гилроя. Но, осмотревшись как следует, я убедился, что кругом все то же самое: все ужасно взбудоражены и только и говорят что о войне; какое-то всеобщее болезненное возбуждение, даже смотреть противно. Зашел я в кафе, съел рубленый шницель, выпил чашечку кофе и отправился с попутной машиной восвояси. Ни одной душе я не открылся в том, что сделал. Никому не рассказал о том, как на обратном пути я оглядывался на прибрежные горы, где хотел переждать войну, и как почувствовал себя таким одиноким, беспомощным, таким неприспособленным, жалким и пристыженным, что возненавидел весь мир, а ведь ненависть мне чужда, потому что мир – это люди, а люди слишком трогательны, чтобы их ненавидеть. В те дни я избегал людей, в назначенный час явился на Маркет-стрит, 444, и был зачислен в армию.

Но теперь все это – древняя история, а я не собираюсь ворошить прошлое. Когда-нибудь и вся война станет древней историей; интересно, что будут говорить об этой войне. Очень хотелось бы знать, чем все это кончится. Я ничуть не удивлюсь, если война и в самом деле окажется поворотным пунктом, как говорят по радио. Но вот в чем беда: если немножко пораскинуть мозгами, то придешь к заключению, что поворотным пунктом в нашей жизни может быть все, что угодно, и единственно, что важно в вопросе о поворотном пункте, это от чего и к чему поворот. Если ниоткуда и никуда, то какой толк в этом поворотном пункте? Может быть, его следует просто игнорировать, хотя я не вижу, каким образом кто-нибудь, кроме калеки или сумасшедшего, может игнорировать войну: ведь рано или поздно придет вам по почте конверт, и стоит его только распечатать, как в вашу жизнь ворвутся всяческие осложнения.

Пока не началась война, никто во всей стране и не подозревал о моем существовании, никому не было до меня дела. Никто не приглашал меня за сучить рукава и помочь в разрешении мирных проблем. А между тем я был все тот же человек и всегда нуждался в небольшой сумме наличными. Но вот пришла война, и вся Америка вспылала ко мне родственными чув-

ствами. Как тут не усомниться в тех, кто задает тон: все-то они улыбаются, никогда не унывают и слишком уж рвутся в герои, тогда как люди в солдатской форме ходят растерянные, подавленные и улыбаются, только если ничего другого не остается; они никогда не бывают такими ужасными оптимистами, потому что не очень-то ясно представляют себе, что вокруг происходит, и что все это значит, и как оно может отразиться на их собственной судьбе; они вовсе не торопятся в герои, так как знают, что стоит чуть-чуть промахнуться, и герой превратится в мертвеца. А когда все это осознаешь, трудно веселиться от души.

Генри Роудс, с которым я провел на распределительном пункте первые дни пребывания в армии, не раз мне говорил: «Это просто полицейская ночлежка, Джексон, а мы с тобой – пара бродяг».

Генри Роудс был по специальности бухгалтер-эксперт и работал, пока его не забрали в армию, в каком-то учреждении на Монтомгери-стрит в Сан-Франциско. Он был уже не мальчик. Ему было сорок три года, но в эти дни забирали всех подряд.

Я уже сказал, что намерен говорить все, что думаю, без стеснения. Так вот, как раз наступило время высказать кое-что, что я считаю правильным, а я, как назло, смертельно боюсь. Ну я-то боюсь, потому что я в армии, но какого черта бояться людям, которые в армии не находятся? Стоит только начаться войне, как каждый будто забывает все, что он когда-либо знал, даже сущие пустяки, – прикусит язык и рта раскрыть не смеет, как бы его ни мутило от всей этой лжи, которой его пичкают с утра до вечера.

В армии вас запугивают до смерти с первых же дней. Прежде всего вас пугают военным судом. И речи нет о том, чтобы отнестись по-человечески к тем трудностям, с которыми вы сталкиваетесь на каждом шагу; вам просто угрожают смертью, и все. Об этом вам твердят, уже когда вы подымаете руку для принесения присяги. Рука ваша еще не опустилась, вы еще не вступили в ряды армии, а вам уже грозят: «...карается смертной казнью». А ведь армия отныне ваша родная семья. Вы приходите в замешательство, когда узнаете, какое наказание подстерегает вас на каждом шагу. Конечно, вряд ли когда-нибудь это наказание применяют на деле, но слово «смерть» отныне нависает над вами постоянной угрозой; оно заключено в самой идее армейского закона и порядка, им проникнуты все мелкие докучливые правила, которые так легко нарушить. Скажем, если вам среди дня вздумается выйти попить воды, то это называется «самовольной отлучкой» и за это весьма серьезное преступление полагается наказание, именуемое «наряд вне очереди», что по сути та же смертная казнь. Или, допустим, вы моетесь под краном, вместо того чтобы наполнить шайку, – опять-таки вам наряд вне очереди, но это просто другое название для убийства, насколько я могу судить по себе. Пройдет каких-нибудь полгода, как вы приобщились к подобному закону и порядку, и если вы не будете запуганы насмерть, не озлобитесь или не впадете в отчаяние, значит вы куда более крепкий человек, чем я. Потому что, хотя я отношусь ко всему с легким сердцем и вообще-то не должен бы падать духом, бояться или злиться, я и злюсь, и боюсь, и падаю духом. Не нравится мне это, но ничего с собой поделать не могу.

Однако речь-то шла о Генри Роудсе, и вот что я считал нужным сказать, но боялся, потому что я в армии: Генри Роудс был зол на правительство за то, что его взяли в армию.

И о таком пустяке я боялся сказать!

Мне стыдно за себя.

От этих мыслей я и сон потерял, хотя, бывает, не могу уснуть и оттого, что ребята шумят всю ночь в казарме, болтают, рассказывают сальные анекдоты, поют или разыгрывают друг друга, как, например, Доминик Тоска и Лу Марриаччи. Они подшучивают над братом Доминика Виктором, который спит на койке между ними.

Стоит Виктору уснуть, как Доминик с одной стороны и Лу с другой начинают шептать ему в ухо: «Я не хочу служить в армии. Зачем я сюда попал? Я никогда не совался не в свое дело. Я не хочу быть солдатом. Не хочу никого убивать. Я домой хочу. Не хочу умирать».

Так они шепчут все громче и громче, пока бедный Виктор не проснется и не скажет: «Да перестанете вы или нет? Я про тебя маме скажу, Доминик».

И тогда все ребята в казарме раздражаются хохотом, и даже я смеюсь вместе с ними, хотя, по-моему, это совсем не смешно.

Глава 3

Джим Кэрби из Юнайтед Пресс учит Гарри Кука и Весли Джексона искусству войны и отправляет их самолетом на Север

Я думаю, все-таки Гарри Кук чудный парень.

Как-то вечером сижу я на бревнах против нашей казармы и просматриваю книжку под названием «Искусство войны», которая попалась мне в городе, а Гарри развалился на другом конце бревен. Повалиться или посидеть на этих бревнах очень удобно, но для чего они там сложены, никто не знает. Судя по цвету, они находились там очень давно.

Ну так вот, Гарри лежал на спине и все повторял – достаточно громко, чтобы я мог слышать:

– Господин полковник, рядовой Кук явился по вашему приказанию. Идите вы со своей армией сами знаете куда.

Я немного подождал и спросил:

– С кем это ты там разговариваешь?

– С полковником, – сказал Гарри. – С этим сукиным сыном.

– Что, что ты сказал?

– Что сказал, то и ладно.

– Смотри, угодишь под военный суд.

– Что сказал, то и ладно, – упрямо повторил Гарри.

– Да что тебе дался этот полковник?

– Он заведовал продажей в кредит в одном универсальном магазине.

– Откуда ты знаешь?

– От его секретарши. Она видела документы.

– А зачем ты должен был к нему явиться?

– Капитан приказал.

– Почему?

– Лейтенант ему доложил про меня.

– А что ты натворил?

– Сержант доложил лейтенанту, что я непочтительно отзывался об армии.

– И что же сказал тебе полковник?

– Сказал, что мне должно быть стыдно. Сказал, что не предаст меня военному суду лишь потому, что не хочет создать дурной славы гарнизону. Ну, я его самого так ославил, будет помнить.

Тут Гарри вдруг скатился по бревнам вниз и скрыл ся из виду. Я было снова взялся за свою книжку, как вдруг увидел группу военных и среди них од ного штатского; они вышли из-за телефонной станции и направлялись прямо к бревнам. Судя по походке, это были все люди важные. Офицера от рядового всегда отличишь по походке. Не то что у офицера выправка лучше, нет, тут что-то еще другое. Даже на расстоянии видно, что офицер всегда чувствует себя на виду у начальства или у подчиненных; он воображает себя весьма важной персоной в этом мире мужчин, каким он себе его представляет, – не столь важной персоной, как капитан, если сам он лейтенант, но более значительной, чем огромное большинство людей в армии, а может быть, и во всем мире.

Даже не видя оловянного петушка на плечах у полковника, можно было понять, какая он важная шишка. Я узнал его по тому, как он держал себя среди других в этой группе. Он

держался чуточку важнее, чем майор, а майор чуточку важнее, чем оба капитана. Старший лейтенант выглядел совсем жалким в этой компании, но важнее всех был штатский. При этом он был самый молодой среди них, вероятно не старше двадцати шести – двадцати семи лет.

При виде такого множества важных персон я совсем растерялся, так как сидел на самом виду. Я не знал, что мне делать: соскочить ли на землю и вытянуться перед ними во фронт или лучше юркнуть за бревна. Отдавать честь я в те дни не любил, мне было противно, что все время приходится думать об этом. Теперь дело другое, теперь меня это ничуть не беспокоит, и я поступаю, как мне нравится. Увижу, идет по улице маленький пожилой полковник, и вид у него такой скромный, неказистый, будто он ничуть не лучше какого-нибудь рядового, – ну так я ловлю его взгляд, с шиком отдаю ему честь и иду себе дальше. Но если мне попадется навстречу какой-нибудь бесшабашный молодой балбес, шагающий по улице так браво, будто взял ее приступом – того и гляди, повернет мировую историю с ее и так незавидного пути к чему-нибудь совсем не потребному, – я сейчас же принимаю задумчивый вид, или поворачиваюсь к витрине магазина, или же устремляю глаза в небо и так прохожу мимо балбеса. Я отдаю честь кому вздумается. Козыряю старым нищим, детям на улице, хорошеньким девушкам, пьяницам, обнимающим уличные фонари, лифтерам в униформе и всем ребятам из армии, кому мне только захочется, независимо от чина и звания.

Но эта группа, которая шагала ко мне вдоль ротной линейки, мне определенно не нравилась, так что я юркнул за бревна – только меня и видели.

Я подполз к Гарри Куку.

– В чем дело? – спросил Гарри.

– Полковник, – прошептал я. – С четырьмя другими офицерами и каким-то штатским.

Теперь уже были слышны их голоса, и Гарри скорчил гримасу.

– Давай послушаем, о чем они говорят, – предложил я.

Но ничего интересного мы не услышали, и я опять взялся за книгу, а Гарри тихо запел: «Будь на это власть моя, вы бы старости не знали». Я понял, что он имеет в виду полковника.

Офицеры обращались друг к другу в той особенной бравой манере, какая принята в армии, однако чувствовалось, что они очень следят за собой – не столько за своими словами, сколько за тем, чтобы не сбиться с надлежащего тона. И если майор иногда заговаривал слишком непринужденно, не по чину, то он тут же менял тон из уважения к полковнику. То же самое и другие, за исключением самого полковника и штатского гостя. Для человека, который совсем недавно оставил отдел продажи в кредит в крупном универсальном магазине, полковник держался блестяще. Но то, что он говорил, звучало довольно глупо. Я сообразил, что штатский – журналист, которому газета поручила написать серию очерков о том, как живут люди в армии.

Потом я слышу, он говорит:

– Полковник Ремингтон, а нельзя ли мне перекинуться словечком с кем-нибудь из ваших солдат, все равно с кем.

А полковник, слышу, отвечает:

– Разумеется, Джим. Лейтенант Коберн, соблаговолите прислать нашему другу Джиму пару ваших людей. По вашему усмотрению, лейтенант.

Лейтенант ответил, как полагается по форме, и быстро ушел. Остальные опять бодро заговорили – бодро, но не развязно. Потом вдруг голоса зазвучали совсем близко, неприятно близко, и я сразу сообразил, что вся компания обходит бревна и каждую минуту может нас увидеть. Прежде чем я придумал, как быть, они нас увидели! Каждый из них смерил нас взглядом, особенно полковник. Гарри притворился, что не замечает их, и запел слишком громко, чтобы это звучало правдоподобно. Теперь все зависело от меня, но я не представлял, что мне следует делать. Я вскочил на ноги и обнаружил, что стою прямо над головами офицеров. Тут я совсем растерялся. Все же я переложил книгу в левую руку и взял под козырек, как полагается, правой рукой.

Все, кроме штатского, ответили мне тем же, и полковник сказал:

– Вольно, сынок!

Я понял, что он хочет произвести впечатление на журналиста. Ему хотелось, чтобы журналист считал его славным малым. Поэтому, заметив у меня в руках книгу, он спросил:

– Домашние задания?

Ту т Гарри перестал петь. Некоторое время он смотрел на меня, а потом на офицеров. Затем поднялся на ноги и, когда это было совсем уже глупо, отдал честь, не торопясь, всем своим видом показывая, что спешить ему некуда. Ну, это было ужас как неловко: Гарри поднес руку к козырьку так медленно, что автоматическая реакция, какую вызывает у всякого военного ловкое отдавание чести, была нарушена. Никто не шевельнулся, чтобы ответить на приветствие, но Гарри не хотел сдаваться. Стоит себе на бревнах и держит руку под козырек. Наконец, после долгого замешательства, полковник откозырнул в ответ весьма раздраженно, остальные офицеры последовали его примеру. Они все были ужас как смущены и уж конечно не рады, что наткнулись на нас.

Прошло так много времени с тех пор, как полковник спросил меня про домашние уроки, что отвечать уже было, пожалуй, не к чему, и я стоял так же молча, как и все. Напряженное молчание прервал журналист.

– Полковник Ремингтон, – сказал он, – вы мне позволите побеседовать с этими людьми?

На этот раз полковник отвечал уже не так бодро.

– Пожалуйста, разговаривайте с кем угодно, – сказал он. – С любым солдатом по вашему выбору.

Журналист поглядел на Гарри, улыбнулся и спросил:

– Как вам нравится в армии, Мак?

Гарри не ответил на улыбку.

– В армии мне не нравится, – сказал он. – И зовут меня не Мак, а Гарри.

– А по фамилии?

– Кук.

Гарри спустился с бревен. Я думал, он остановится внизу и ответит еще на несколько вопросов, но он, ни слова не говоря, повернулся и ушел. Вероятно, он отправился на почту или в кино. Это развязало мне руки. Я видел, что полковник зол на Гарри, как черт, за его поведение, и я решил попробовать немножко исправить положение – прежде всего для Гарри, а затем и для самого полковника: не могу я видеть, когда человек так расстроен, какой он там ни на есть.

– Гарри получил сегодня письмо от отца, – сказал я. – Его мать тяжело заболела, и отец боится, что она не выживет, Гарри весь день плачет.

С этими словами я спустился с бревен. Я посмотрел на полковника, чтобы узнать, как он это воспринял, и, конечно, он понял меня правильно. Прежде всего он почувствовал облегчение и, видно, был признателен мне за то, что я его выручил. Журналисты для военных всегда помеха. Полковнику, который из кожи вон лезет, чтобы попасть в генералы, они могут причинить массу неприятностей. Люди штатские, а журналисты особенно, относятся к полковникам и даже к генералам довольно критически; их герой – это маленький человек. Полковник был парень не промах и сразу сообразил, что лучший способ сохранить свою репутацию и репутацию гарнизона – это огорчиться по поводу огорчения Гарри. Но в то же время он явно обрадовался, что мать Гарри при смерти, ибо это значило, что Гарри на самом деле не питает отвращения к армии, а просто расстроен мыслью об умирающей матери. Это совсем другое дело.

– Да, да, – сказал полковник, взглянув на журналиста. – Я так и думал, что у бедняги какая-то тяжесть на душе. Майор Голдринг, благоволите распорядиться, чтобы рядовому Куку был предоставлен внеочередной отпуск. Нужно отправить его с первым же поездом, пускай

съездит домой на несколько дней. Нужно, чтобы каждый солдат нашего гарнизона понял, что мы, командиры, его друзья. Немедленно отправьте рядового Кука домой.

– Есть, сэр, – сказал майор. – Будет исполнено завтра же с утра в первую очередь.

– К черту завтра с утра в первую очередь! – сказал полковник. – Сейчас! Немедленно!

Полковник повернулся ко мне.

– Где живут родители рядового Кука? – спросил он.

Ну, я-то знал, что Гарри жил в западном районе Сан-Франциско недалеко от того места, где жили и мы с отцом. Но мне не хотелось создавать осложнения, а на Сан-Франциско каждый вечер уходили три или четыре поезда. Если я скажу полковнику, где дом Гарри, майор отправит его с первым поездом и очень скоро обнаружится, что мать Гарри и не думала болеть. Тут-то мы с Гарри и попадем в переделку. Поэтому я решил сказать, что дом Гарри очень далеко, так далеко, что полковник откажется от мысли отправить Гарри домой с первым поездом и просто предоставит ему без помех предаваться своему горю.

– Они живут на Аляске, сэр, – сказал я.

Я это сказал потому, что, когда я увидел, что надвигается беда, мне очень захотелось стать кем-нибудь другим, а не тем, кто я есть на самом деле, – и это мне напомнило об эскимосах, а эскимосы живут на Аляске.

– На Аляске? – переспросил полковник.

– Так точно, сэр, – сказал я. – Он с Аляски.

Полковник явно был озадачен, и я подумал было, что он бросит это дело, поставит на нем крест.

Теперь, если бы только лейтенант явился с двумя wybranными им людьми для беседы с журналистом, все сошло бы отлично и я бы побежал искать Гарри. Полковник поглядел на журналиста, но тот сделал такое лицо, что просто трудно себе представить. Ну прямо-таки самое настоящее каменное лицо. Полковник ему улыбнулся, но у того на лице ни один мускул не дрогнул, и полковнику стало ясно, что так легко ему не отделаться.

– В каком городе Аляски? – спросил он.

– В Фербенксе.

– Майор Голдринг, – сказал полковник, – узнай те расписание самолетов на Фербенкс и отправьте рядового Кука с первым самолетом, вне всякой очереди. Если ему понадобятся деньги, доложите мне лично.

– Есть, сэр, – сказал майор и ушел.

– Молодой человек, – сказал мне полковник, – подите отыщите своего друга. Он едет домой.

– Есть, сэр, – сказал я и повернулся, чтобы идти, но журналист меня остановил.

– Простите, – сказал он, – что это у вас за книга?

– «Искусство войны», – отвечал я. – Клаузевиц.

– Позвольте спросить, – продолжал журналист, – как вам попала в руки эта книга?

– Средний уровень развития солдат нашей армии... – начал было полковник, но журналист его прервал.

– Шерман говорил, война – это ад, – сказал он. – Клаузевиц говорит – это искусство. А по-вашему, что такое война?

– Я не очень-то много знаю о войне, – отвечал я.

– А как вы находите Клаузевица?

– Читается легко.

– Что вы думаете об его идеях?

– По-моему, они омерзительны.

– Как вас зовут?

– Весли Джексон.

Журналист записал мое имя в блокнот, который достал из кармана пиджака. Полковник сначала был мною доволен, но когда я заговорил более свободно – без всякой, впрочем, задней мысли, – я увидел, что это ему не нравится. Он, видно, решил, что глупый журналистишка собирается написать очерк о рядовом, а не о нем, полковнике.

– Вы из каких мест? – спросил меня журналист.

– Из Сан-Франциско.

– Чем вы занимались до призыва в армию?

– Ничем.

– Ничем?

– Ну, искал одно время работу, иногда и работал, но больше слонялся без дела. Мой отец участвовал в прошлой войне. Ему дали пенсию по ранению, так что мы кое-как перебивались.

– А чем занимается ваш отец?

– Да ничем.

– Какая же у него специальность?

– Никакой. Он был студентом, когда его мобилизовали, а когда вернулся с войны, не захотел больше учиться.

– Откуда вы все это знаете?

– А он мне рассказывал. Мы с ним были добрыми друзьями, пока не началась война.

– А потом что случилось?

– Ну, видите ли, отец всегда любил выпить, а когда опять стали забирать всех подряд, он и совсем запил. Даже есть ничего не ел.

– А какое у него было ранение?

– Газ, шрапнель, шок. Кусок свинца угодил ему в темя, шрапнель едва не сняла с него скальп.

– А вы отца любите?

– Конечно.

– Отчего же вы поссорились?

– А мы не ссорились. Я все уговаривал его бросить пить, а он не мог. Хотел, да не мог. Напьется и пропадает по нескольку дней, а когда я спрошу, где он был, даже не помнит.

– А если не ссорились, почему перестали дружить?

– Да он ушел из дому и не вернулся.

– На какие же средства вы без него жили?

– Нашел себе субботнюю работу за три доллара. На них и жил.

– Где же сейчас ваш отец?

– Не знаю.

– А у вас есть кто-нибудь еще из родных?

– Мать и брат.

– Где они?

– В Эль-Пасо. У маминого брата Нила, моего дяди, там, в Эль-Пасо, магазин сельскохозяйственного оборудования. Мать и брат живут у него уже, наверно, лет десять.

– А вы все время оставались с отцом?

– Да. С девяти лет.

Ну, журналист все задавал да задавал вопросы, а я на них все отвечал, и каждый раз всю правду, и все глупее да глупее себя чувствовал и только ждал, когда наконец явится лейтенант со своими двумя людьми, которые создадут гарнизону хорошую репутацию вместо той дурной, что создали мы с Гарри. Но лейтенант не показывался, и руки у меня потели от волнения, и мне страшно хотелось стать эскимосом, а в ушах у меня все гремела «Валенсия», потому что это была та песня, которую распевал отец, когда мама уехала в Эль-Пасо с моим братом Вирджилом и мы с папкой помирали с тоски. Потом мы привыкли жить без них, отец перестал

петь «Валенсию», и я совсем было ее позабыл, но потом опять вспомнил, когда он ушел из дому и больше не вернулся, а с тех пор, как я попал в армию, эта песня слышалась мне непрестанно.

Журналист мне сперва не понравился, но когда мы с ним разговорились, я увидел, что он парень прямой, и моей неприязни как не бывало. Почему-то полковник и другие офицеры дали нам наговориться вволю – черт его знает почему. Может быть, им самим было интересно послушать.

– Еще один вопрос, – сказал журналист. Он глянул уголком глаза на полковника и спросил: – Как вам нравится в армии?

Черт возьми, этого только недоставало! Ведь Гарри Кук уже ему говорил, теперь ему нужно, чтоб и я сказал то же самое. Но ведь если я скажу ему правду, полковник совсем огорчится, а если не скажу, буду трусом. Не знаю, почему мне не хотелось огорчать полковника, ведь я любил его ничуть не больше, чем любил его Гарри, и все-таки не хотелось. Просто мне казалось неправильным его огорчать. Не знаю, чем это объяснить, но мне казалось, что огорчить полковника – это еще хуже, чем оказаться трусом. Поэтому я стал думать о тех вещах, которые мне нравились, но их было так мало, что из-за них, по правде говоря, не стоило любить армию, и чем больше я об этом думал, тем в большее приходил замешательство. Мне даже стало совсем не по себе, но нужно было поскорее прийти к какому-нибудь решению, поэтому я постарался принять жизнерадостный и искренний вид и сказал:

– Ужасно нравится.

Тут как раз подоспел лейтенант со своими двумя людьми, и я хотел было уйти, но журналист придержал меня за руку. Лейтенант представил своих избранных: пара ребят, которые были на постоянной службе в нашем лагере. Они работали в канцелярии. Я часто их видел, но не был с ними знаком. Журналист спросил каждого, сколько ему лет, откуда он родом и где работает его отец, но ничего на этот раз не записывал. Атмосфера постепенно разряжалась, и полковник опять повеселел. Тут подошел майор и сказал:

– В три часа отправляется самолет со станцией назначения приблизительно в сотне миль от Фербенкса, сэр. Отпускное свидетельство для рядового Кука, проездные документы и деньги – в этом конверте, сэр.

Вероятно, я побледнел, когда это услышал, и журналист, видно, сразу заметил, что мне не по себе, потому что он обратился к полковнику и сказал:

– Так далеко в самолете один...

Он повернулся ко мне:

– Вам бы нужно отправиться вместе с товарищем, раз у него мать так больна и он так расстроен, – а, как вы думаете?

– Точно так, – сказал я. – С удовольствием слетаю на Аляску.

Тут оба парня из канцелярии тоже оживились, и один из них спросил:

– На Аляску? Кто это собрался на Аляску?

– Рядовой Кук, – ответил майор. – Мы его отправляем домой. У него мать тяжело заболела.

Черт побери, на этот раз я, кажется, влип.

– Рядовой Кук? – повторил парень из канцелярии. – Какой это Кук?

– Рядовой Гарри Кук, – сказал майор.

Но журналист и тут оказался на высоте.

– Полковник, – сказал он, – можно вас на два слова? Никуда не уходите, – бросил он мне.

– К вашим услугам, – ответил полковник.

Они отошли вдвоем за бревна, а мы, все остальные, продолжали стоять на месте и все только поглядывали друг на друга. Ребята из канцелярии поняли, что тут не все ладно, и решили не соваться со своими замечаниями. Армия вообще учит людей не соваться вперед со своей осведомленностью, чтобы, не дай бог, не причинить беспокойства кому-нибудь из

начальства, ибо вас могут поблагодарить за информацию, а через неделю-другую вы вдруг очутитесь в каком-нибудь богом забытом уголке страны, куда по своей воле вы бы и носу не показали. Поэтому парни из канцелярии ни словом не обмолвились о том, из каких мест был Гарри Кук, хотя прекрасно знали, что уж никак не с Аляски.

Майор – тот тоже понял, что тут происходит, и украдкой лукаво на меня поглядывал. Я пытался улыбнуться ему в ответ, но он живо отворачивался, будто хотел сказать: «Держись теперь, не сдавайся, молчок! Полковник здесь командует парадом. Это его бенефис. Гляди не испортишь ему музыки. Сейчас он там беседует с журналистом. Он примет решение и отдаст нам приказ. И мы его выполним».

Оба капитана и лейтенант тоже все поняли, поэтому нам ничего не оставалось, как стоять на месте и ждать. Разговаривать было нельзя, чтобы нечаян но не причинить неприятностей полковнику. Вообще-то, я был не прочь слетать на Аляску, но насчет Гарри Кука я не был уверен. Я бы полетел хоть куда, лишь бы на время избавиться от армии. Я был сыт по горло армией, а если бы нас с Гарри отправили на Аляску, это получилось бы здорово еще и потому, что, не говоря о развлечении, я мог бы наконец увидеть какого-нибудь эскимоса.

Скоро журналист и полковник вернулись. Было видно, что они отлично поняли друг друга – наверно, журналист обещал полковнику написать о нем блестящую статью и помочь ему продвинуться в бригадные генералы. Хотя они и не сияли улыбками, но я понял, что все в порядке – независимо от того, где живет Гарри Кук и кому это известно.

Полковник оглядел своих подчиненных, и все они почувствовали в нем начальника. Полковник сказал:

– Майор Голдринг, нужно отправить с рядовым Куком в Фербенкс рядового Джексона. Благоволите оформить как полагается. Рядовой Джексон командирится в качестве курьера. – Полковник повернулся ко мне и сказал: – Ступайте разыщите своего друга и сообщите ему приятные новости. Затем, я думаю, вам лучше поторопиться и уложить свои вещи. Лейтенант Коберн, обеспечьте доставку на аэродром.

Все стали навтыяжку и отдали честь полковнику. Полковник откозырял в ответ, и группа рассыпалась. Я побежал прямо в казарму посмотреть, не валяется ли Гарри на своей койке, и, конечно, он был там. Он спал. Я его растолкал и говорю:

– Вставай, нас посылают на Аляску, самолет отправляется в три часа.

На это Гарри ответил, что мы можем послать их и подальше. Он повернулся на другой бок и хотел опять уснуть. Я стал его убеждать, что говорю серьезно, и в это время в казарму вошел журналист.

По счастью, кроме нас с Гарри, в казарме был только Виктор Тоска, да и тот крепко спал на своей койке в противоположном углу помещения. Журналист поглядел на Гарри и сказал:

– Извините, что я назвал вас Маком. Я не хотел вас обидеть. Пожмем друг другу руки, ладно?

– Давайте, – сказал Гарри.

– Вы где живете? – спросил журналист, но меня это ничуть не встревожило.

– В Сан-Франциско, – ответил Гарри. – В Западном районе, под самой горой Редрок-хилл.

– Родители как, здоровы?

– В полном порядке.

– Письма от них давно были?

– Да только сегодня, от матери. Испекла мне пирог, хочет прислать.

– Вы любите пироги?

– Еще бы, черт возьми. А этот пирог особенный, – сказал Гарри. – Финики, изюм, грецкие орехи, ром – чего там только не напихано. А вы пироги любите?

– Люблю, – сказал журналист. Он поглядел на нас обоих. – Я знаю, как вас зовут, а вы меня еще нет. Джим Кэрби. Пишу для U. P.

– «Юнион пасифик»? – спросил Гарри.

– Юнайтед Пресс, – сказал Джим.

– А что вы пишете?

– Шеф требует, чтобы я писал о солдатах. О вашем брате-рядовом. Не о крупных шишках, а о мелких, так сказать. Думаю начать с очерков армейской жизни здесь, на родине, а потом двину за океан вместе со всеми.

Гарри взглянул на меня и сказал:

– Джексон утверждает, что мы летим на Аляску в три часа.

– Совершенно верно, – подтвердил Джим. – Как вам нравится эта идея?

– Замечательно, – сказал Гарри. – Давно мечтаю побывать на Клондайке. Но как же это вышло?

– Да видите ли, – сказал Джим, – мы с вашим другом Весли сообща взяли за полковника и любовно уладили дело.

– Кроме шуток? – сказал Гарри.

– Кроме шуток. Да вы не волнуйтесь, все в полном порядке. Ну, вам пора укладываться, так что пока! Надеюсь, еще увидимся.

Мы простились с Джимом Кэрби, и он ушел из казармы. Потом мы принялись укладывать вещи, и Гарри все приставал ко мне:

– Господи боже, чего вы такого наговорили полковнику?

Путешествие сошло отлично в оба конца, побывать для разнообразия на Аляске было очень приятно, но единственный эскимос, которого я видел, работал в Фербенксе в пивнушке. Звали его Дэн Коллинз, был он христианин и больше походил на американца, чем на эскимоса. Не думаю, чтобы наша поездка была пустой тратой времени и государственных денег, так как полковник поручил мне доставить какие-то пакеты и сделать для него кое-что там, на месте. Я объехал несколько гарнизонов с пакетами от полковника и получил взамен другие пакеты отовсюду, где побывал.

Когда Гарри узнал, как и почему нас отправили на Аляску, он воскликнул:

– Ну что ты скажешь! Поистине без обмана не проживешь, правда, Джексон?

Мы проездили в общей сложности пять дней, а когда вернулись, все пошло по-прежнему: спозаранку начиналась муштра, и каждый вечер Доминик Тоска и Лу Марриаччи подшучивали над молоденьким братишкой Доминика.

Глава 4

Виктор Тоска отпускает остроту, а сержант Какалокевич произносит блестящую речь

Виктор Тоска был самый красивый парень в нашей роте. Брат его Доминик был сущий хулиган, а вот у Виктора были прекрасные манеры. Доминик и его друг Лу Марриаччи изо всех сил старались подшутить над Виктором, а он только добродушно отмахивался:

– Ладно, перестаньте, ребята.

Доминику было за тридцать, а Лу Марриаччи – около сорока. До призыва в армию они работали вместе в Сан-Франциско. Им обоим пришлось побывать под судом, оба отбыли краткосрочное заключение, но в серьезную переделку ни разу не попадали.

Виктор был одних лет со мной. По сравнению со своим братом Домиником это был сущий младенец.

Каждую свободную минуту Виктор спешил к своей койке, растягивался на ней и засыпал. Норовил он вздремнуть и во время просмотра учебных фильмов: о том, как нужно отдавать честь; как уберечься от заразы, если вы имели дело с уличной женщиной; как привести в чувство контуженого или утопленника; как найти укрытие или убежище; как обезоружить и убить человека – и обо всем остальном, чему мы должны были выучиться. Ничему из того, что от нас требовали, мы учиться не хотели, но нас все равно заставляли смотреть эти фильмы.

Как только погасят свет в зале, голова Виктора падала на грудь, и он засыпал. Придем ли мы на лекцию, он заснет и тут. Торчим ли мы субботним утром в казарме, готовые к осмотру, Виктор засыпает на ногах. Говорят, самый лучший солдат – это тот, который умеет ждать, так вот у Виктора был настоящий талант к ожиданию. Спать он мог везде и всегда.

Брат его Доминик говорил:

– Он ужасно запуган, мой бедный братишка, пря мо до смерти. Поэтому он все время и спит.

А Виктор возражал:

– Ладно, Дом, перестань. Кто умеет спать, а кто нет. Я вот умею. Ничем я не запуган. Просто мне неинтересно.

У Виктора, как и у всякого, была своя любимая песня, и если уж ему приходилось бодрствовать – на марше, на часах или в каком-нибудь наряде, – он всегда распевал:

Все зовут меня «красавчик»,
Отчего – не знаю я.
Оттого что, верно, мама
Так зовет меня.

Время от времени для нас устраивали какой-нибудь вечер, и ротный командир говорил нам перед отбоем:

– Я не приказываю вам присутствовать на сегодняшнем вечере, но было бы неплохо, если бы каждый солдат нашей роты там побывал. Переключки не будет, но если кто-нибудь из вас не придет, это может случайно дойти до меня, и я буду огорчен – вы понимаете, что я хочу сказать. Разумеется, это не приказ. Можете пойти, можете воздержаться, как вам угодно. Но я надеюсь, что каждый из вас воспользуется возможностью получить развлечение. Разойдись!

Первое время кое-кто из ребят пренебрегал этой возможностью и воздерживался от явки, но вскоре они обнаружили, что это не совсем хорошо, так как за неявкой следовал наряд вне очереди. Поэтому очень скоро все стали посещать любое развлечение, которое нам устраивали.

И вот однажды вечером к нам приехала женщина, считавшаяся знаменитой, хотя никто из нас никогда о ней не слышал. Не проговорила она и двух минут, как мы поняли, что нам предстоит тощица смертная. Случилось так, что я сидел рядом с Виктором Тоска, а за ним сидели Доминик и Лу Марриаччи.

Так вот, не успела эта женщина произнести и десяти слов, как Виктор уже заснул. Я заметил, что Доминик обернулся и посмотрел на брата. Такого выражения лица я у него еще не видал. Доминик Тоска любил Виктора так, как только брат может любить брата, – вот что я прочел у него на лице. Когда кто-нибудь пристально смотрит на спящего, всегда можно понять, как он к нему относится, и вот, когда я увидел, как Доминик смотрит на брата, я понял, почему он всегда над ним подшучивает. Я понял, что он это делает не для того, чтобы позабавить себя или Лу Марриаччи.

Женщина-оратор, по-видимому, ставила своей задачей вселить в нас бодрость, поднять наш ослабевший дух.

Мы вошли в зал хмурясь. Сели по местам нахмуренные. А когда она заговорила, нахмурились еще больше. Вряд ли кто-нибудь слушал, что она там говорит. Женщина довольно прытко подвигалась вперед и вдруг неожиданно заявила:

– Наука говорит: когда мы улыбаемся, расходуется энергия двадцати семи мускулов лица, а когда хмуримся – почти вдвое больше: пятидесяти одного мускула. – Она сделала паузу. – Так зачем же нам хмуриться?

В этот момент Виктор Тоска открыл глаза и громко сказал:

– Чтобы делать побольше физических упражнений.

Раздался общий хохот, крики «браво!», аплодисменты, и кто-то добавил:

– Правильно! Надо как можно больше упражняться.

Ротный командир поднялся с места и заорал:

– Отставить!

И сразу все стихло.

– Кто это сострил? – спросил ротный.

Виктор Тоска хотел встать, но Доминик схватил его за плечи и толкнул обратно на стул. Потом Доминик встал сам.

– Явитесь ко мне в канцелярию, – сказал ему ротный, и Доминик вышел из зала.

Он был оставлен на неделю без увольнения плюс наряды вне очереди каждые сутки.

– Братишка-то мой, а? – говорил он. – Самый воспитанный мальчик на свете – на него хоть с ножом, он все равно будет вежлив. И вот на тебе: засыпает на этой паршивой лекции, просыпается как раз вовремя, чтобы сочинить ядовитую шуточку, – ну и держал бы ее при себе, как это делаем мы, горлодеры, так нет же, тут ее и выпаливает!

Как-то раз вечером наш тогдашний сержант, по фамилии Какалокевич, добрых полчаса распекал нас в строю. Потом он выпятил нижнюю губу, как делал всякий раз, когда старался выбирать слова, и сказал:

– Ротный командир поручил мне коснуться, значит, одного негласного вопроса. То есть это неофициально, между нами. В армии нет места ночным феям – значит, ребята, который из вас эта самая... фея, давай пусть явится ко мне после проверки, потому что ротный командир говорит, это вина не ваша. В армии ночных фей не полагается – и все тут. Понятно?

Все поняли, но промолчали, и сержант скомандовал:

– Разойдись!

У нас было в обычае собираться вокруг Какалокевича после вечерних занятий, чтобы узнать гарнизонные сплетни и посмеяться над сержантом, и, разумеется, на этот раз вокруг него собрались решительно все. Мы смеялись над тем, как удачно он подбирал выражения в своей последней речи, и тут сержант вдруг спросил:

– Где рядовой Виктор Тоска?

А Виктор прохаживался по ротной линейке с Ником Калли, и все ему стали кричать:
– Эй, Виктор! Сержанту нужно с тобой поговорить.

Виктор подошел. Сержант и тут не сразу мог справиться со своим языком, но все-таки он спросил:

– Ты где был вчера вечером?

– Когда?

– Часов в десять, что ли, говорят.

– А кто говорит?

– Ладно, где ты был?

– Сидел на скамейке возле кино и слушал музыку, потому что картину видел раньше.

А что?

– Кто был с тобой.

– Никого.

– Значит, ничего не случилось?

– Что вы хотите этим сказать?

– Разве никто к тебе не подходил и не подсаживался рядом, хотя там уйма скамеек, на сто ярдов по обе стороны дорожки в кино?

– Ах да, – сказал Виктор. – Я и забыл. Какой-то капитан подошел и сел рядом.

– А ты и забыл?

– Ну да. А что?

– Слышал последнее, что я говорил перед строем, а?

– Ну конечно. Так что из того?

– А что тебе капитан говорил?

– Не помню. Я встал, чтобы отдать ему честь, а он говорит: «Не трудитесь», так что я не стал козырять. Имею полное право не козырять офицеру, раз он говорит, что не надо. В чем дело?

– А как ты думаешь, что теперь сделают с этим твоим капитаном?

– Что с ним сделают?

– Вышибут вон из армии.

– Почему?

– А ты и не знаешь?

– Откуда ж мне знать?

– Ты там был, нет? Ты да он... Что, не так?

– Не понимаю, что вы хотите сказать.

Виктор с недоумением на всех оглянулся, и все стали строить ему умильные рожи, так что он наконец-то понял, что Какалокович силился ему втолковать.

– Не говорите глупостей, – сказал Виктор.

Он повернулся и ушел, а ребята стали просить:

– Ну, сержант, что случилось? Расскажите нам, ладно?

– Я там не был, – сказал сержант, – но говорят, у капитана с Виктором завелся флирт. Во всяком случае, капитан с ним заигрывал. А Виктор, пожалуй, даже и не понял, что ему нужно. Он, конечно, тупица изрядная.

– Кто-нибудь, возможно, наклепал на капитана, – сказал Вернон Хигби.

– Ну да-а! – протянул сержант. – Это такой фрукт. Его выследили. А с вами, ребята, никто тут не флиртовал последнее время? Армия таких не потерпит.

Все расхохотались, а Джо Фоксхол сказал:

– Вы тут единственный, кто с нами флиртует, сержант. Да вы не только флиртуете, вы каждый день... нас с утра до вечера.

– Что верно, то верно, – согласился Какалокович. – А если кому из вас, ребята, это не нравится, можете... себя сами. Ну а с тобой никто не флиртовал?

– С кем это? – спросил я.

– С тобой, – сказал Какалокович, и тут я понял, что он обращается ко мне, и очень испугался: ведь теперь ребята меня засмеют.

– С ним? – удивился Джо Фоксхол. – Вы имеете в виду Весли Джексона? Да какой дурак станет флиртовать с этакой образиной?

– Да никак вы, ребята, воображаете, будто вы красивее его, – вступился Гарри Кук. – Вы небось думаете, что вы неотразимы как для мужчин, так и для женщин. А вы бы хорошенько поглядели на себя в зеркало, когда бреетесь. Тоже ведь не ахти какой товар, знаете ли. Да не все красивые женщины дуры, и у такого парня, как Весли, куда больше шансов заполучить хорошую жену, чем у вас, меднолобых: у него кое-что найдется и кроме наружности.

– А наружность у него разве плохая? – сказал Джо Фоксхол. – Ну-ка, Весли, что ты скажешь про своего дружка, который защищает тебя таким странным образом? Оскорбительно, верно? Ну что ж, а вот самому некрасивому парню в Бейкерсфилде всегда достаются самые красивые девчонки, кто ж этого не знает!

– Ну ладно, ребята, – примирительно сказал Какалокович. – Помните, вся эта неофициальная шутовина должна остаться между нами. Не годится, если скандал обнаружится.

– Какой скандал? – спросил Джо.

– А не все ли равно какой, – отвечал Какалокович. – Мое дело было объявить, как мне поручил ротный.

– И вы сделали это самым изящным образом, – сказал Джо Фоксхол. – Вы настоящий европеец, сержант.

– Что значит европеец? – спросил Какалокович.

– Уж не хотите ли вы сказать, что не знаете, что такое европеец? А, сержант?

– Я поляк, – сказал Какалокович.

– Вы человек светский, – пояснил Джо Фоксхол, – вот что вы такое, сержант.

– Ладно, – сказал Какалокович. – Вы, большие умники из университетов и прочих подобных мест, можете смеяться над тем, как я говорю, да не забывайте, что я тот самый парень, что сидит в канцелярии и решает, кому погрязней назначить работу, а ваша фамилия мне знакома, рядовой Фоксхол.

– Не может быть, чтобы вы сыграли такую грязную шутку, сержант! – воскликнул Джо Фоксхол. – И это с человеком, окончившим бейкерсфилдскую среднюю школу!

– Не морочьте мне голову бейкерсфилдской школой, – сказал сержант. – Я просматривал все учетные карточки в нашем подразделении и хорошо знаю: вы окончили Калифорнийский университет. Пусть я буду необразованный, ладно, но не забывайте тоже, что я ваш сержант.

– Ладно, сержант, не забуду, – сказал Джо. – Но вы не находите, что нам нужно показать учебный фильм в двух частях о том, как справляться с гомосексуальными капитанами? Виктор Тоска не знал вчера, как быть. Он думал, им надо честь отдавать.

– Ничего, – сказал Какалокович, – обойдется и так. Вы только, ребята, помалкивайте да наматывайте себе на ус, что я вам говорил.

Глава 5

Джо Фоксхол объясняет Весли, что такое жизнь

На следующий вечер мы с Джо Фоксхолом были вместе в караульном наряде, и он заговорил о нашей жизни в армии.

– Когда ты оправившись от первого потрясения из-за того, что тебя превратили в барана, и к тебе возвращается мало-помалу твое собственное милое «я», необходимое и обязательное для каждого смертного, худшей вещью во всем этом деле, по-моему, становится ожидание. Малое ожидание и большое. Ждешь еды, ждешь прививки, ждешь осмотра, ждешь увольнительной. Затем – большое ожидание: ждешь писем, ждешь, куда тебя отправят дальше, ждешь, чтобы война скорей кончилась, и, конечно, больше всего хочешь знать, убьют тебя или ты жив останешься. Ты, верно, помнишь этих ребят в джипе, что в темноте скатились с обрыва, ну, так они были за тысячи миль от войны, но тоже гадали, останутся они в живых или нет, – и вот, не остались.

Мы сидели на наших койках в караульном помещении. Это не тюрьма, как думают многие, а просто комната или здание, где ребята из караула ожидают очереди заступить на пост и где они сидят или спят четыре часа после двух часов пребывания на посту. Мы с Джо Фоксхолом ждали грузовика, который должен был прийти через десять минут и отвезти нас на посты.

– Вся наша жизнь, – говорил Джо, – одно сплошное ожидание. Всякий человек, облеченный в брэнную земную оболочку, ждет, конечно бессознательно, пока эта оболочка износится и в прах обратится. Словом, ждет смерти. Но так как он знает, что ему положено распоряжаться своим телом еще тридцать или сорок лет, он принимается ждать чего-нибудь другого. Юношей он ждет, когда станет мужчиной. Потом ждет жены. Потом – сына. Потом ждет, когда сможет с ним разговаривать. Или, если он не захочет с самого начала ждать жену, он ждет девушку, которая повлияет на все его существо, заставит его почувствовать, что он нечто большее, чем продукт смешения нескольких жидкостей, переливающихся в его теле, нечто большее, чем глупое, слабое, смешное животное в пиджаке и брюках; заставит его почувствовать себя бессмертным. Иными словами, он ждет переживаний, ждет влюбленности, ждет мудрости, которая, как он думает, приходит с любовью. Или, если он не хочет ждать ни жены, ни любовной мудрости, может быть, он ждет, что сделает нечто значительное, выйдет в люди, как говорится; создаст себе известность в обществе, в народе, а не только в своей семье или в тесном кругу друзей и, по сути дела, прославится перед Богом: напишет песню, совершит откровение в науке или поэзии, раскроет истину и снишет благословение Божие. Но все сводится всегда к одному: он хочет жить. Он хочет выиграть ставку. Он знает, что рано или поздно умрет, но хочет преодолеть самую смерть, если сможет. Все, чего мы достигли на этом свете, возникло из борьбы человека со смертью: наши песни, наша поэзия, наша наука, все наши истины, наша религия, наши танцы, наша правительственная система – все, все на свете; торговля, изобретения, машины, пароходы, поезда, самолеты, оружие, комнаты, окна, двери, дверные ручки, одежда, кухня, вентиляторы, холодильники, башмаки... Ты следишь за моей мыслью?

– Разумеется, слежу, – сказал я. – Но как тебе удалось постичь всю эту премудрость?

– Как? Я же тебе объясняю. Я хочу, чтобы Бог мне улыбался. Хочу быть красивым. Хочу, чтобы при взгляде на меня у детей сияли глаза. Хочу, чтобы меня любили прекрасные женщины. Хочу жить так славно и благородно, как это только возможно при моей шкуре, напиханной всяким паршивым хламом.

– Ты что, изучал философию в Калифорнийском университете?

– Философию? – сказал Джо с презрением. – Самого себя – вот что я изучал в университете. Но и до сих пор еще не очень-то много знаю и каждый день узнаю что-нибудь новое. Но чем больше узнаю самого себя, тем больше и тебя тоже.

– Как это так?

– А вот так: что ты, что я – ведь это одно и то же. И не только ты да я, одни мы с тобой, а и все другие, кого ни возьми: Какалокович, Лу Марриаччи, Гарри Кук, Вернон Хигби и миллионы других людей во всем мире, которых мы с тобой никогда не видали, да и вряд ли увидим.

– Ты хочешь сказать, все люди на свете такие же самые, как и мы?

– Да.

– И эскимосы?

– Да.

– И китайцы?

– Да, абсолютно все.

– И немцы?

– Все, все!

– И японцы?

– Ну да, – сказал Джо, – как ты не понимаешь? Мы с тобой – это пара японцев.

Тут Джо умолк, и я понял, что теперь мой черед сказать что-нибудь, но я не знал, что мне говорить, потому что только сегодня на занятиях лейтенант сказал, что японцы – это обезьяны, а не люди. Он сказал, что они трусы. Сказал, что они людоеды. Что они не такие, как мы. Что они сражаются не за свободу, а за своего императора, а император у них сумасшедший. Сказал, что они все фанатики и готовы подохнуть как собаки, целыми тысячами, за своего императора, которому поклоняются, как богу. И еще, сказал лейтенант, мы должны понимать, против кого мы воюем, должны научиться ненавидеть врага, чтобы убить его, когда встретимся на поле боя. Я не знал, что сказать Джо Фоксхолу.

– Понял, что я тебе говорю? – спросил наконец Джо.

– Не знаю точно, – отвечал я.

– Да ты послушай, – сказал Джо. – Все люди на свете такие же, как и мы, и все они ждут одного – смерти. А тем временем живут вот так, как я тебе рас сказывал. Так вот, если ты ненавидишь себя – что ж, тогда можешь ненавидеть и японцев. Можешь ненавидеть немцев и итальянцев, венгров, бол гар – всех, кого хочешь. Что до меня, я ненависти к себе не питаю и не вижу, зачем это нужно. А раз это так, то я не могу ненавидеть и никого другого. Может быть, мне и придется когда-нибудь убить человека, для того чтобы он не убил меня, но, черт побери, чего ради мне его ненавидеть? Да пропади я пропадом, если, убив человека, подумаю, что сделал доброе дело. Будь я проклят, если подумам, что сделал этим что-нибудь для себя, для тебя, для своей семьи или твоей, или для родины, или для мира, для истины, для искусства, для религии, для поэзии... Понял теперь?

– Кажется, да, – сказал я. – Ты убежденный противник войны, верно, Джо?

– Ерунда, – сказал Джо. – Плевал я на убеждения. Противиться войне, когда она развязана, – это все равно что противиться урагану, который оторвал твой дом от земли и уносит его в небеса, чтобы потом грохнуть оземь и расплющить с тобой вместе. Если ты против этого протестуешь, то уж наверняка убежденно. Да и как же, черт возьми, иначе? Но что толку от этого? Ураган – дело рук Божьих. Война, может быть, тоже – я еще не знаю как следует. Но подозреваю, что она – дело рук человеческих. Я войны не люблю. Ненавижу ее всею душой. Но когда меня подхватил ее чудовищный экскаватор, что я могу поделывать? Разве только надеяться, что останусь в живых. И я надеюсь, можешь не сомневаться.

В это время подошел грузовик, мы взяли свои винтовки, вышли вместе с остальными ребятами и взобрались в кузов. Мы с Джо сели рядом. Не знал я, что ему сказать, предложил сигарету, он ее взял. Я поднес ему огонька, закурил сам. Он глубоко затянулся и сказал:

– Мы все ждем смерти, а сигареты помогают нам ждать.

Время близилось к полуночи. Заступали на пост мы ровно в двенадцать, потом в течение двух часов обходили свой участок, а потом грузовик нас забирал и отвозил обратно в караулку, где мы могли отдыхать и спать четыре часа. В шесть утра мы опять заступали на пост – еще на два часа.

– Хорошая вещь сигареты, – продолжал Джо. – Без них люди и воевать не станут. Понимаешь, они слегка одуряют, ровно настолько, чтобы ты мог поддаться еще большему одурению, но не доходил до безумия. Что-то в тебе не хочет, чтобы тебя убивали, и приходится его успокаивать, заглушать небольшими дозами смерти – сном, забвением, дурманом – при помощи табака, алкоголя, женщин, труда или чего бы там ни было. Приходится все время ублажать это что-то, потому что оно ужасно чувствительно. Оно возопит в тебе, если не усыпить его вовремя. Обычно мы его убаюкиваем по не очень серьезным поводам, но на войне положение посерьезнее, и ты вынужден усыплять это нечто всеми доступными средствами и подчас доводить его до полного бесчувствия, если уж очень солоно придется. Но беда, если ты потеряешь меру и, вместо того чтоб его усыпить, убьешь его. Ибо этим ты убьешь самого себя – тело твое еще будет жить, но истинная жизнь в тебе умрет, и это самое страшное, что может случиться с тобой во всей этой дурацкой истории.

Глава 6

Весли жаждет любви и свободы, а сержант Какалокович позорит военный мундир

Мы прибыли на участок, который я должен был охранять. Я попрощался с Джо и сошел с грузовика.

– Всю нашу жизнь, – сказал Джо, – мы только и делаем, что ждем. Два часа ты будешь ждать, когда наконец эти два часа пройдут. За два часа на миллион лет состаришься.

– Увидимся, когда они пройдут, – отвечал я.

– Ладно, – сказал Джо. – Гляди почаще в небо, не забывай.

– Ладно, – ответил я.

Я сменил на посту Лу Марриаччи и тщательно проделал все формальности, а Лу удовлетворенно кивал головой: он принадлежал к числу людей, которым доставляет удовольствие наблюдать, как другие делают что-нибудь глупое. Когда все формальности были выполнены и Лу обошел со мной участок, чтобы я знал, что мне охранять, когда я официально заступил на пост, а Лу стал персоной неофициальной, он сказал:

– Ну, малый, не усердствуй понапрасну. Не вздумай пугаться и стрелять в первого прохожего, которого ты принял за шпиона, – он, бедняга, может, и рта раскрыть не сумеет со страху, перепугавшись не меньше тебя.

– Ладно, Лу, – сказал я.

– Таким, как ты, всегда нужно стараться, как бы в беду не попасть, – продолжал Лу. – Убивать никого не надо. Попроси человека по-хорошему удостоверить свою личность, и пускай себе идет спать. Это будет, наверно, свой брат-рядовой, бредущий в казармы из города, так ты его смотри не убей. У него мама есть.

– Ни в кого я стрелять не буду, – отвечал я.

Ребята из грузовика закричали Лу:

– Давай, давай, поехали! Не можем мы болтаться тут всю ночь!

– Я пойду пешком! – прокричал им Лу в ответ. Он отдал одному из ребят в машине свою винтовку, водитель включил скорость, и машина загрохотала по шоссе.

Я думал, Лу отправится в караулку сейчас же, но он остался, зашагал со мной в ногу и начал болтать.

– Тихо, тихо, малый, не спеши, – говорил он. – Два часа – это долгое время. Торопиться некуда, все здесь под рукой. Знай топчись все кругом да кругом.

Я сбавил шаг. Видно, я расхаживал слишком быстро для часового. Нести охрану не значит гулять, это значит сторожить, быть всегда начеку.

Ноябрь был на исходе, погода стояла холодная, ясная, и таким одиноким чувствует себя в это время человек, о чем бы он ни задумался, так печально и грустно ему, как это бывает только в детстве на Рождество, когда и сам не знаешь, о чем печалишься.

На небо можно было заглядеться, что и говорить. Таким широким и глубоким я его еще никогда не видал. Звезд пока зажглось не больше чем с полдюжины, но все они были крупные, яркие и красивые. Я был еще под свежим впечатлением всего того, что наговорил мне Джо про ожидание, и я не мог не удивляться звездам: как долго они ждут, сколько лет уже прождали и сколько сотен лет еще будут ждать после того, как на земле умрет и будет позабыт последний человек, – для них все остается по-прежнему.

– О чем это ты размышлял? – спросил меня Лу.

– Так, ни о чем, – сказал я.

– Так куда же ты идешь, как ты думаешь?

– Что значит – куда?

– Ты забрел за черту участка.

Лу провел меня обратно на участок и сказал:

– Мне нужно кое о чем с тобой потолковать.

– Но это против устава – гулять с часовым, ведь я сейчас на посту.

– Знаю, – сказал Лу, – но ты не беспокойся, со мной не пропадешь. Кругом ни души.

Если кто-нибудь появится, я исчезну.

Участок, который я охранял, был около квартала в длину и с полквартала в ширину и весь был заставлен армейскими грузовиками и платформами. Двумя кварталами дальше виднелся ряд новых, недостроенных казарм, а за ними уже не было ничего, кроме открытого поля и леса, куда я иногда уходил, чтобы побыть одному. Это был крупный лагерь в глубине страны, милях в семи от Сакраменто, его пересекали несколько проездов и автострада, где в эти ночные часы не было почти никакого движения.

Изредка вдоль автострады, к западу от нас, мелькали огоньки, и я гадал, кто бы это мог быть и куда идет машина. Я завидовал этому человеку, его свободе, тому, что у него есть автомобиль, что мчится он в эти ночные часы по пустынному шоссе, что есть у него дом и семья, есть куда ехать. Я представлял себе – вот он, один в тайном мире любви, зимней ночью приезжает домой на машине, ставит ее под навес, входит в дом, к жене, на кухонном столе его ждет ужин. Вот он привлекает жену к себе и целует, а потом сидит с ней за столом и тихо беседует – не о чем-нибудь серьезном, таком, что говорил Джо Фоксхол, а просто о всяких мелочах – где он был и что делал. Я даже как будто слышал, как он говорит, и я знал, что они вовсе и не думают ждать смерти. «О милая, вот мы и опять вместе!» И я чертовски хотел быть мужчиной. Хотел быть тем, который там сидел. Чертовски хотел быть дома, со своей женой. Я представлял себе: война кончилась, и это я там сижу за столом. «О дорогая, война позади, и вот опять ноябрь, и студеное небо, и яркие звезды, любимая! И это все, что нам нужно, и никто нас больше не потревожит».

Я так далеко унесся в своих мечтах об удивительном счастье одних людей и о злосчастье других, что, видно, совсем позабыл, где я и зачем нахожусь, потому что Лу вдруг схватил меня за плечи и встряхнул – и тут же исчез. Я увидел, что кто-то идет, и, так как я обязан был его окликнуть, я сказал:

– Стой! Кто идет?

Однако голос мой прозвучал так слабо, что я вынужден был повторить оклик. Но человек и после этого продолжал идти, и я оробел; я-то думал, что он остановится и ответит, а тут я не знал, что делать. Наверное, Лу сообразил, что происходит, потому что он вдруг откуда-то выскочил, вырвал у меня из рук винтовку, крикнул: «Стой!» – и человек остановился.

Тогда Лу потребовал, чтобы неизвестный назвал себя, и тут оказалось, что это сержант Какалокович своей собственной персоной, пьяный и глухой к голосу закона и порядка.

– Ах ты, старый сукин сын, – сказал Лу. – Застрелить бы тебя – и дело с концом.

– Застрелить? Меня? – спросил Какалокович. – За что?

– За что? – повторил Лу. – За то, что ты не остановился, когда я тебя окликал.

– Я остановился, – возразил Какалокович.

– Да, – сказал Лу. – После того, как я тебя окликнул три раза. Благодарю Бога, что я не выстрелил в тебя после второго оклика.

– А за что в меня стрелять?

– За то, что ты сержант, – сказал Лу.

Я держался в стороне, в тени, потому что могло показаться странным, что два человека охраняют один и тот же участок одновременно.

– Хороший из тебя сержант, нечего сказать, – продолжал Лу. – Хорошенький примерчик подаешь мальчуганам из честных семей Сан-Франциско, Окленда и других городов. Сведу-ка я тебя к караульному начальнику.

– К караульному начальнику? – повторил Какалокович. – За что?

– За то, что не останавливаешься по требованию часового. За то, что напился пьяный и имел половые сношения не при исполнении служебных обязанностей.

– Половые сношения? – удивился Какалокович. – Да я прямо из церкви.

– Ты прямо из публичного дома, – сказал Лу. – От тебя разит духами на расстоянии.

– Из польской церкви, – проговорил Какалокович.

– Ты пьян, – сказал Лу. – Послушай-ка, сержант. Мой долг наказать тебя в назидание другим, и я свой долг исполню, как это ты всегда от меня требуешь. Я исполнял свой долг, когда ты мне приказывал идти в наряд на кухню. Я исполнял свой долг, когда ты заставлял меня убирать казарму. Я исполнял свой долг всякий раз, когда ты от меня этого требовал, и я исполню свой долг и на этот раз. Завтра утром ты будешь разжалован в рядовые.

Сержант был пьян, но не настолько, чтобы не понять, что попал в переplet; не настолько пьян, чтобы Лу не мог вдоволь над ним потешиться в эту ночь, под этим изумительным пустынным ноябрьским небом. Немного погодя сержант обсудил с Лу условия мирного соглашения, и условия эти были жесткие. Лу потребовал от сержанта, чтобы отныне – никаких глупостей; никаких нарядов вне очереди – ни для него, ни для Доминика Тоска, ни для Виктора Тоска, ни для Весли Джексона.

– Весли Джексона? – повторил Какалокович. – А он тут при чем?

– Не твоя забота, – отрезал Лу. – Просто запомни, что он включен в сделку, и все тут.

– Ладно, – сказал Какалокович, и вот так я вдруг узнал, что отныне меня ожидают либо лучшие дни, либо еще худшие беды. Если вдруг сержант все позабудет к утру, когда протрезвится, или, наоборот, все припомнит и решит поквитаться с Лу, да и с нами тоже – что тут поделаешь? Пропадешь. Но я никак не предполагал, что Лу так здорово знает дело.

– Что у тебя есть при себе? – спросил Лу. – Чтобы закрепить договор, законный и нерушимый.

– Законный и нерушимый, – повторил Какалокович.

– Да ну, поживей, – сказал Лу. – Что у тебя в карманах? Выкладывай все.

Какалокович выложил все, что было у него в карманах, а Лу тщательно все осмотрел и отобрал бланки удостоверений, номерки и всякие другие предметы, необходимые для выполнения обязанностей сержанта, и рассовал их по собственным карманам. Так как Лу забрал все, кроме денег, хлама набралось порядочно.

– Утром я отдам тебе то, что мне не понадобится, – сказал Лу. – Сделаю так, что никто не увидит. А сейчас я провожу тебя домой и уложу в постельку, но наперед, гляди, будь миленьким со мной, и с Домиником, и Виктором Тоска, и с Весли Джексоном – понял?

– Есть, – сказал Какалокович.

– Так будь же паинькой, и все сойдет гладко, – продолжал Лу. – Я с тобой по-хорошему, и ты по-хорошему с нами. Нас всего четверо. Нам могут понадобиться увольнительные вне очереди и прочие мелкие поблажки. Мы будем вести себя примерно, так что ты всегда сможешь сказать, что наградил нас за отличное поведение, на случай, если кто начнет совать свой нос, – понятно?

– Есть.

– И благодари Бога, что я тебя не убил, – сказал Лу. – Ты и представить себе не можешь, как я был близок к этому. По виду ты суций немецкий шпион.

– Польский, – поправил Какалокович.

Лу отдал мне винтовку.

– Я скоро вернусь, – сказал он.

– Ну, пошли, – обратился Лу к сержанту. – Ты едва на ногах стоишь. Держись за меня. Я отведу тебя домой.

Лу уволок сержанта, и я еще долго слышал, как он его пилит и пилит за то, что тот напился пьян, и мне было жалко беднягу, хоть он и сержант.

Глава 7

Весли Джексон гадает на звездах и узнает свою судьбу

Я смотрел, как они удаляются по направлению к казармам. Лу помогал сержанту держаться на ногах. Удивительно, думал я, но что тут было удивительного – не мог понять. Может быть, то, что сержант сказал Лу, когда они тронулись в путь.

– Потихе иди, – сказал он. – Я ранен.

– Ничего ты не ранен, – возразил Лу. – Ты просто пьян.

– Нет, ранен, – повторил сержант. – У меня кровь идет.

Странные вещи говорят иногда пьяные люди. Я это знаю по своему отцу. Иной раз и половины не поймешь из того, что он болтает, когда напьется, но я-то знал, что все это не так глупо, как кажется. Какалокочич ранен не был, и кровь у него не шла, но я понял, что он хочет сказать, и, видно, Лу тоже понял, потому что убавил шаг. Сначала Лу обращался с сержантом так, будто очень зол на него и не хочет зря время терять на человека, который так налился, что не может идти прямо и еле ворочает языком, но я понимал, что это он так, шутки ради.

Скоро они скрылись из виду, и я остался один. Я ничего не имею против одиночества, но тут, сказать по правде, малость оробел. Я обошел разок вокруг участка, надеясь, что мне никто не попадется и не нужно будет никого окликать, так как мне это очень не нравилось. Пускай меня окликают, пожалуйста, но сам я окликать других не любил.

Я припоминал наставления, которые нам всегда давали, когда мы готовились идти в караул, а сам все глядел в небо, на звезды, и грезил о том счастливце на воле.

Наставления бывали всегда одни и те же – во всяком случае, по смыслу.

«Помните, солдаты. Это очень серьезно. Вы идете туда не для потехи и не в наказание. Нести караульную службу – это честь, которой каждый солдат нашей доблестной армии должен гордиться. Это также большая ответственность. Вы идете туда, чтобы защищать свою страну от врага. Окликайте проходящих ясным и громким командным голосом. Если первый ваш оклик останется без ответа, окликайте вторично. Если не подействует вторичный ваш оклик и вы решите, что дело не чисто, – стреляйте, и стреляйте насмерть! Вы исполните свой долг – все равно, кого бы вы ни убили: майора, полковника или генерала. Если же вы увидите, что нет ничего подозрительного – допустим, вам ясно, что это пьяный, или вы узнали человека в лицо и уверены, что все в порядке, – можете не стрелять, по вашему усмотрению. Но не рискуйте. Враг – в наших рядах. Он может напялить американскую форму, вам может показаться, что вы его узнаете, но не будьте глупцами, не рискуйте – это может стоить вам жизни. Если вторичный ваш оклик останется без ответа, стреляйте – это не только ваше право, это ваш долг».

Не нравились мне такие наставления. Несколько человек было убито, но ни один из них не оказался врагом. По большей части это были солдаты. Сколько раз слышали мы о том, как часовые стреляют в невинных людей. Большинство рассказов приходило из других лагерей, но однажды ночью наш солдат подстрелил парнишку из соседней роты. Этот парень умер прежде, чем ему успели оказать помощь, а солдату, который в него стрелял, дали отпуск домой, чтобы он мог прийти в себя после потрясения. К нам он уже не вернулся. Его перевели в другой гарнизон, где никто не знал, что он убил человека из американской армии.

Я уже трижды обошел свой участок. Много разных мыслей промелькнуло у меня в голове, потом я замурлыкал какую-то мелодию, но не мог никак вспомнить, что это за песня и где я ее слышал. И вдруг сразу вспомнил, потому что всплыли в памяти слова: «Скажи, браток, куда нас гонят?» Это была папина песенка еще с прошлой войны.

После этого я стал думать, о чем это Лу хотел со мной поговорить. Потом откуда ни возьмись появилась какая-то собачонка и увязалась за мной. Я ей очень обрадовался. Кругом

было тихо-тихо, я слышал только свои собственные шаги, а собачонки и вовсе не было слышно. Я разок остановился, хотел с ней поговорить, хотя это и было против устава.

– Алло, приятель, – сказал я, но собачонка пустилась наутек. Немного отбежав, она остановилась и потихоньку снова приблизилась. Видно, не совсем была во мне уверена. Такие дворняжки встречаются повсюду, где стоят войсковые части.

Тут мне ужасно захотелось курить, но это тоже запрещалось уставом, так что я сперва воздержался. Однако вскоре я почувствовал себя таким несчастным, что решил рискнуть, взял в рот сигарету, зажег, закурил, и сразу стало легче. В точности, как говорил Джо Фоксхол. Я пробыл на посту всего тридцать пять минут, а казалось – гораздо больше.

Я решил придумать какую-нибудь игру, чтобы время шло побыстрее, и сказал себе: «Отсюда до поворота ровно сто тридцать три шага», – и начал считать. Но я ошибся. Шагов оказалось сто пятьдесят четыре.

Тогда я сказал: «Если я угадаю с точностью до десяти, сколько шагов от одного конца участка до другого, тогда... Ну, тогда война завтра кончится».

Но это было слишком уж глупо, и я решил сделать иначе.

«Нет, – сказал я, – если я угадаю, мне никого не придется окликать за все время, я спокойно вернусь в караулку, увижусь с Джо Фоксхолом и порадуюсь, что половина дежурства позади, и, может быть, вместо того чтобы спать, мы посидим рядком, покурим и поболтаем».

Но я тут же сообразил, что увижусь с Джо Фоксхолом в караулке так или иначе и мы все равно посидим, покурим и поболтаем. Так гадать неинтересно.

И тогда я сказал: «Если я угадаю расстояние с точностью до десяти шагов, значит у отца все в порядке. Он избавился от того ужасного настроения, какое у него было, когда он ушел из дому, и теперь благополучно живет где-нибудь в меблированных комнатах».

Но и это меня не вполне удовлетворило, хотя я от души пожелал, чтобы у отца все было в порядке. И вот что я загадал: «Прежде чем война кончится, я встречу девушку себе по нраву – мою девушку, мою невесту, мою жену. Мы повстречаемся, полюбим друг друга, поселимся где-нибудь – и что нам до того, как люди всего мира разделаются друг с другом».

Тем временем я прошел вдоль всего участка и не успел загадать, сколько там шагов; теперь я шел поперек участка, а это было слишком уж короткое расстояние, чтобы из-за него волноваться; слишком легкое для угадывания, как я считал; поэтому я подождал, пока пройду этот кусок, и уже готов был свернуть, чтобы идти опять вдоль.

Перед самым поворотом я сказал: «Здесь ровно триста девяносто три шага. Если я угадаю с точностью до десяти, я встречу Ее».

Я повернул под прямым углом и начал считать.

Число триста девяносто три я выбрал потому, что люблю число три и давно уже считаю его своим счастливым числом, так же как и все числа, которые делятся на три. Мой армейский порядковый номер весь состоит из троек и девяток. Когда я был маленький, я любил число семь, но, вероятно, оно мне показалось слишком большим, и я его разлюбил, а вместо него полюбил число три. Все хорошее представлялось мне состоящим из троек.

Так вот я и надеялся, что загадал верно, но очень скоро убедился, что перебрал. Тогда я стал укорачивать шаги – и все равно просчитался. Получилось всего-навсего двести восемьдесят четыре шага, включая и коротенькие, а такое число ничего мне не говорило. Если разделить двести восемьдесят четыре на три, то получается девяносто четыре и две трети – тоже ничего хорошего. Однако девятка в числе девяносто четыре – все-таки лучше, чем ничего, поэтому я решил, что имею право загадать еще раз. Но так как гадание о том, что я встречу свою девушку, уже один раз не вышло, я решил загадать что-нибудь другое.

И я сказал: «Если на этот раз появится в небе новая звезда или какая-нибудь звезда упадет, тогда...»

Мне нужно было что-то загадать, но что, я просто не знал.

Однако вскоре пришла новая мысль, и на этот раз стоящая.

«Если за то время, что я обойду участок, появится новая звезда или какая-нибудь звезда упадет, то я в эту войну убит не буду».

Ну и переволновался же я: боялся, что опять не выйдет. Ведь если идти медленно, как положено часовому, и даже чуть-чуть помедленней, то на обход всего участка понадобится каких-нибудь десять минут, а между тем, хотя я смотрел в небо почти все время, что находился на посту, я не видал, чтобы появилась хоть одна новая звезда или какая-нибудь упала. Но уговор дороже денег, и раз я поставил условия, нужно было их держаться. Я находил, что мне даже лучше оказаться в слегка невыгодном положении, ибо тогда, если я выиграю, я буду знать уже наверняка, что меня не убьют в эту войну. Мне-то ведь казалось, что шансы за то, что я уцелею, довольно малы, так что было правильнее поставить условия потруднее.

Пока я размышлял обо всем этом, я не позволял себе смотреть на небо, потому что, если бы новая звезда появилась прежде, чем я подтвердил соглашение торжественным поднятием руки, оно бы все равно не считалось. Но вот я поднял руку, заметил, где я стою, взглянул на небо и произнес:

– Если появится в небе новая звезда или какая-нибудь звезда упадет до того, как я вернусь на то самое место, я, Весли Джексон, в эту войну не буду убит.

Я решил не жульничать и не идти слишком медленно, ибо Бога все равно не обманешь. Если мне не суждено остаться в живых, лучше об этом знать наперед. По крайней мере, не придется зря нервничать. Я просто скажу себе: «Значит, так тому и быть» – и не стану больше об этом думать.

Я шел и поглядывал на небо, и вот уже прошел больше половины пути, а новых звезд все нет и нет и ни одна еще не упала.

Однако я не терял надежды.

Не знаю почему, но я чувствовал, что, прежде чем я пройду кругом до конца, я увижу новую звезду. Я был уверен, что увижу ее. Не падающую звезду увижу, а новую звезду; она появится в небе где-то далеко, за миллионы миль от меня, и я буду знать, что меня не убьют. Мне было все равно, сколько шансов против меня; я знал, что звезда непременно появится – совершенно новехонькая, моя собственная, – чтобы поведать мне, что я останусь жив, здоров, цел и невредим.

И вот я смотрю туда, где, по моим расчетам, звезда должна появиться – далеко на востоке, примерно в двадцати футах над горизонтом. Я и теперь ничего не знаю о звездах. Ни в какой части неба они находятся в то или иное время года, ни куда они движутся, ни как называются, так что вы можете себе представить, какой ничтожный шанс был у меня, когда я уставился именно в эту часть неба. Но я ничуть не беспокоился. Я знал, что звезда моя взойдет, – и не подумайте, что я вру: она действительно появилась. Она показалась в небе гораздо раньше, чем я обошел весь участок. Я увидел ее так же ясно, как и все другие звезды, и заметил в тот самый момент, как она появилась.

«Это чудо, – сказал я себе. – Эта звезда зошла для меня. Бог послал ее мне. Разумеется, она была там и раньше, только что-то ее заслоняло. А Бог услышал, что я загадал. Он убрал то, что мешало видеть звезду, и она мне открылась, я увидел ее – и теперь я знаю, что не буду убит».

Я так обрадовался, что громко запел: «Скажи, браток, куда вас гонят?»

Маленькая дворняжка уже больше не трусила, и я тоже ничего не боялся – решительно ничего. Я взял еще сигарету и закурил. Теперь мне было все равно – даже если кто-нибудь покажется на дороге в лагерь и мне придется его окликать.

И тут вдруг кто-то появился со стороны лагеря.

Я сразу узнал Лу Марриаччи, но все-таки закричал:

– Стой! Кто идет?

– Вот это порядок, – сказал Лу. – Давай еще разок.
И я прокричал еще раз, просто так, из озорства.

Глава 8

Лу Марриаччи просит у Весли услуги, которая ставит того в затруднительное положение

Я прохаживался с Лу Марриаччи и недоумевал: что он такое задумал?

– Да ты, никак, потерял своего дружка, – сказал он про собачонку, которая только что убежала. – Люблю людей, которых любят собаки. Это хорошие ребята.

– Не все собаки меня любят, – сказал я. – А одинокий пес, да еще среди ночи, готов подружиться со всяким.

– Э, нет, – возразил Лу. – Стоило мне появиться, как эта собачонка припустилась со всех ног – только ее и видели. И не вернется, пока я не уйду.

– Ты думаешь, ты ей не понравился?

– Не думаю, а знаю.

– А почему?

– Видишь ли, – сказал Лу, – собаки доверяют своему чутью. Они могут и ошибаться, но большей частью угадывают. Я обходил этот участок за два часа до тебя. Несколько раз я видел, как эта собачка принюхивается издали, решая, можно ли ей подойти и завязать со мной дружбу. Понимаешь, так и не подошла. Принюхалась ко мне, и я ей не понравился.

– Чем же ты это объясняешь?

– Собаки ищут, кто им по душе. Для себя-то я хорош, а для собак, видно, не очень. А ты, видно, хорош и для себя и для собак. А коли так, значит ты славный малый, и поэтому я хочу с тобой поговорить.

– Хорошо, я слушаю.

– Прежде всего никому не рассказывай, что здесь произошло между мной и сержантом. Я уложил его спать, и все в полном порядке. Теперь он будет с нами по-хорошему. Он с нами, правда, и прежде по-свински не обращался, да только никогда не мешает иметь какую-нибудь заручку против того, кому завтра может взбрести в голову стать свиньей. Какалокочич парень хороший, но служба есть служба, и время от времени ему приходится назначать нас в наряды – сам знаешь: дневальным по линейке, по казарме, по кухне, в караульную команду и все такое прочее.

– По-моему, дневалить нужно всем по очереди.

– Ну да, ты же пай-мальчик, – сказал Лу. – Конечно, по-твоему, каждый должен нести свой наряд. Поэтому собачонка тебя и полюбила. А вот я не верю этому. Я знаю, что каждый ловчится уйти от наряда. И мне это покою не дает, потому что ничто на свете мне так не противно, как оказаться в дураках.

– Что ты хочешь этим сказать?

– В войну все должны нести свой наряд, все и каждый, если только он не уваливает. Я-то вот в армии, а ведь я знаю многих, кто должен быть в армии, а их там нет и в помине.

– Как же это?

– Они люди умные, не какие-нибудь простачки, – сказал Лу. – Когда разгорится война, каждый мужчина в стране должен участвовать в ней, особенно люди с мощной, у которых есть что терять, а вот они-то как раз в войне и не участвуют. Им надо, чтоб ты да я воевали, а сами они только еще больше наживаются за наш счет. Им наплевать, скольких бы из нас ни убили, лишь бы им своего не потерять да еще прибавить малую толику. Зато ведь они ужас какие патриоты – в десять раз больше, чем мы с тобой. Войну они любят, это мы ее ненавидим. Почитывают о войне в газетах да журналах и знают о ней куда больше, чем мы. Они и о других

войнах знают все, что надо. Они их изучают, чтобы узнать, как лучше делать деньги на этой войне.

– Есть, видно, люди, для которых деньги важнее всего.

– Много таких, – сказал Лу. – Чересчур даже много. Но они не только за деньгами гонятся. Они используют войну, чтобы заполучить еще и другое: побольше власти, веса, известности. А мы, солдаты, превращаемся в стадо: за пять шагов не отличишь одного от другого. Но к черту все это. Я хотел с тобой поговорить вот о чем.

Несколько мгновений мы шагали молча, а потом он сказал:

– Я хочу уйти из армии. Я знаю, как это сделать. Но мне нужно немножко помочь, и я прошу тебя это сделать.

– Не смогу я, что ты, – отвечал я. – Нас обоих расстреляют за такие дела.

– Не думай, что я останусь перед тобой в долгу, – сказал Лу, – я тоже для тебя что-нибудь сделаю.

– Нет, не могу, – сказал я. – Пусть я, по-твоему, простачок, но я служу в армии и не стану жульничать.

– Ну а если это не жульничество?

– Нет, жульничество, – сказал я. – Я ведь вижу.

– Ладно, – согласился Лу. – Допустим, что придется немножко сжульничать. А ты думаешь, в армии, в правительстве, да и по всей стране – все по-честному? Жульничество сплошное кругом – так оно было, так и будет всегда, пока люди такие, как мы, есть. Все люди – дерьмо.

– Может быть, но не всегда.

– Да и я не всегда, – сказал Лу. – У меня жена, я ее люблю, она – все для меня. Сидит теперь дома и плачет целыми днями. Да ребят у меня трое, я их тоже люблю. Не такая уж я дрянь, когда я с женой да с детьми. Мне сорок лет. Не понравился я там у нас, по соседству, одному сукину сыну – он и загнал меня в армию. Пронюхал, что я отложил немного денег про черный день, и решил, что семье моей хватит лет на пять-шесть, чтобы прожить без нужды. Вот он и сговорился с другими такими же сукиными сынами, и решили они меня сцапать, забрать в солдаты в наказание. Страна воюет, все взбудоражены, сотни тысяч людей идут в армию – так они решили, почему бы и мне не пойти. Один из них – грошовый адвокатишка, другой – хвастунишка-судья, третий – делец копеечный, – так ведь они у руля, и что ни скажут, все выйдет по-ихнему. Толпа – за них, а что я людям? И бросили меня в армию, как вора в тюрьму. Правда, я кое в чем согрешил, но ни гроша ни у кого не украл за всю жизнь. Долги отдавал. Любил жену, детишек растил.

– А чем ты занимался до того, как попал в армию?

– Всем понемножку, – сказал Лу. – Держал бар на Пасифик-стрит в Сан-Франциско. Там у меня в задней комнате шла небольшая игра. Да девушки знакомые были, охотницы до легкого заработка.

– Это какого же легкого заработка? – спросил я.

– Сам понимаешь какого, – сказал Лу.

И верно, я понял. Может быть, я должен был почувствовать отвращение к такому человеку: прохаживается со мной и рассказывает о себе разные такие вещи – сначала про жену и детей, а потом – эти штучки. Но, видно, я и сам человек не очень порядочный, потому что отвращения к нему не испытывал. Может быть, потому, что я видел, что Лу мне не лжет, а говорит всю правду, и я не мог не восхищаться такой откровенностью. Да занимайся я такими вещами, мне бы наверняка было стыдно признаться кому-нибудь. Я бы наверняка соврал или умолчал об этом, а Лу не лгал, говорил всю правду. Я подумал, что если бы все говорили правду вот так напрямик, не скрывая, кто кем был и что делал, то мир стал бы чуточку лучше, и, может быть, поэтому Лу не вызывал во мне отвращения. Хотя я не вполне уверен. Может

быть, все-таки я не испытывал к нему отвращения просто потому, что и сам я по натуре человек непорядочный.

– Ну, так что ты хочешь, чтоб я сделал? – спросил я.

– Ты мне сначала скажи, что я могу сделать для тебя?

– Ну что ты! Ничего мне от тебя не нужно, но если я могу для тебя что-нибудь сделать, за что меня не расстреляют, я, наверно, сделаю. Детишек твоих как зовут?

– Старшего – тоже Лу. Потом идет девочка. Роза, потому что так зовут мою мать. А третий, совсем крошка, двухлетний – Майкл, потому что так звали моего деда.

– А жену твою как зовут?

– Марта.

– Так что ты хочешь, чтобы я сделал, Лу?

– Видишь ли, я должен заступиться на этот пост в четыре утра.

– Так.

– Но меня в это время не будет ни в караулке, ни здесь.

– А где же ты будешь?

– Сбегу, – сказал Лу. – Дня через два-три меня разыщут. А я ничего помнить не буду.

Тогда станут выяснять, кто меня видел последний. А это окажешься ты. Когда я укладывал сержанта в постель, я боялся, как бы кто меня не увидел, думал, не пришлось бы отложить это дело, но никого поблизости не было. Все спали, никто меня не видал. Вот возьми, это бумажки сержанта. Все до единой. Я хочу, чтобы ты отдал их ему утром, и все. Если он поинтересуется, как они к тебе попали, напости ему, что он был пьян, возвращался в казармы и не ответил на оклик, так что ты его чуть не застрелил, да хорошо – вовремя узнал. Скажи ему, что он не хотел идти домой, пока ты не возьмешь на сохранение его вещи. А теперь ты их ему возвращаешь.

– А если он вспомнит, что ты укладывал его в постель?

– Вспомнит, да не слишком ясно, – сказал Лу. – Это-то мне и нужно. Будто бы и вспомнит, да не захочет дела поднимать.

– А вдруг он заявит, что его кто-то уложил спать?

– Он был пьян. Ему это привиделось. Да никому он об этом не скажет. А вот когда ты отдашь ему эти бумажки, он может отвести тебя в сторонку и спросить. Скажи ему, что он дал тебе бумажки и пошел домой.

– Ну а если он только поглядит на меня и ничего не скажет?

– Тем лучше. Может случиться, что никто тебя ни о чем и не спросит, – тем лучше.

– Думаешь, у тебя это выйдет?

– Должно выйти, – сказал Лу. – Жена плачет целыми днями. Мне брат описал все как есть. Ну а же на – она пишет только красивые письма: мол, все прекрасно. Пишет мне неправду и молится за меня каждое утро и вечер.

– Молится?

– Ну конечно, – сказал Лу.

– А куда ты пойдешь? Где будешь скрываться?

– Лес этот видишь?

– Ну да.

– Был там когда-нибудь?

– Был.

– Так вот, – сказал Лу, – несколько дней и ночей я проведу в этом лесу.

– А еды ты себе приготовил?

– В еде я не нуждаюсь. Человек, потерявший голову от тревоги за жену и детей, не берет с собой завтрака.

– Так что я должен сделать? Отдать Какалоквичу эти бумажки – и все? Так, что ли?

– Да. А если кто-нибудь спросит, принимал ли ты от меня этот пост, скажи – да. Ведь это правда. Если спросят, садился ли я на грузовик, чтобы ехать в караульное помещение, скажешь – нет. И это правда. Может быть, ты видал, как я пошел по направлению к казармам? Да, видал. Ты увидишь, как я пойду туда через несколько минут, так что это тоже будет правда.

Лу подождал немного и спросил:

– Хочешь для меня это сделать?

– Хотеть не хочу, говоря по правде. Никогда я ни в чем дурном не участвовал. Боюсь, что и солгать по-настоящему не сумею. Я ненавижу ложь. Когда мне кто-нибудь лжет, меня тошнит, не знаю отчего.

– Хорошо, я вернусь в караулку, – сказал Лу. – И забудем об этом. Я понимаю твое состояние. Католик я неважный, но не такой уж плохой, чтобы не уважать человека честного.

– Да я не договорил, – сказал я. – Я не хочу этого делать, но сделаю. Постараюсь держаться правды, но если придется солгать, ну что ж – наверно, солгу.

– Надеюсь, тебе лгать не придется, – сказал Лу. – Вовек не забуду твоей услуги.

И вот он ушел по направлению к казарме, и я опять остался один. Я думал, прошла уйма времени, но было только двадцать пять минут второго, так что до смены оставалось еще тридцать пять минут.

Глава 9

Весли окликает полковника Ремингтона, который честит демократов и состязается в лае с собакой

Оставшись один, я начал досадовать, что вошел в сговор с Лу, но я знал, что я его не предаю, что бы со мной ни случилось, и от этого расстроился еще больше. Итак, я лжец. Я сделаю все, как просил меня Лу, буду отвечать на вопросы – когда правду, а когда и нет. Но после того, как Лу освободится из армии – если это ему удастся, – вот что я сделаю: я пойду и заявлю на себя.

Но как мне это сделать? Если я скажу, что я лжец, меня спросят, в чем я солгал, и тогда мне придется сказать, что я лгал про Лу Марриаччи. И тогда за ним пошлют – а он будет в это время дома, с семьей – и доставят его с позором обратно в часть или посадят в тюрьму.

Нет, я уже никогда не смогу сказать правду. Слишком уж многие из-за меня пострадают, если я стану говорить правду после того, как солгу. Пострадают Марта Марриаччи и двое ее сыновей, Лу и Майкл, и ее дочка Роза. Я останусь лгуном на всю жизнь, вот и все.

Словом, я почувствовал себя таким несчастным, что слезы выступили у меня на глазах, и я подумал: уж лучше бы мне не родиться. Стоит ли жить, если ты лжец?

И тут я заплакал, как плакал, бывало, шестилетним мальчишкой – тихо и жалобно, – ведь не с кем даже поговорить.

Плакал я, плакал и вдруг слышу: кто-то идет по дороге. Я так был расстроен и сердит на себя, что воз ненавидел весь мир и особенно того, кого надо было окликнуть. Я уж больше не боялся, мне было все равно, что случится. Пускай меня даже убьют – тогда, по крайней мере, не придется лгать, а Лу будет знать, что я его не предал.

Я так злобно закричал: «Стой! Кто идет?» – что человек едва не упал. Он остановился как вкопанный.

– Полковник Ремингтон, – отвечал человек, и, ей-богу, это был он, собственной персоной. Он был пьян.

А мне было все равно, полковник или не полковник, я был здорово раздосадован. В один прекрасный день *этот* самый человек – этот старый индюк, нализавшийся в городе, как какой-нибудь Какалокович, как всякий обыкновенный рядовой, – возьмет и подвергнет меня мучительному допросу, который навсегда меня опозорит. Ладно же, я тебе покажу! Я приказал ему подойти и предъявить удостоверение, и он подчинился. Когда все формальности были закончены и полковник мог следовать дальше, он посмотрел на меня и сказал:

– Рядовой Джексон, не так ли?

– Да, сэр.

– Право, я вами горжусь. Отличное несение караульной службы – ничего лучше не видел. Упомяну об этом утром вашему ротному командиру. Пока такие молодцы, как вы, стоят на страже у ворот нашей великой родины, американцам нечего тревожиться за свою безопасность. Доблесть нашей нации, рядовой Джексон, живет в мужественных, бравых сердцах таких молодцов, как вы, а не в жиденьких, слабых сердечках таких людей, как...

Я думал, он будет правдив и скажет: «таких людей, как я сам», но он сказал:

– Как Бенедикт Арнольд.

Ну, я не исследовал Бенедикта Арнольда и не знаю, жиденькое у него сердце или нет, но что до меня, то полковник был совершенно прав.

– Да, сэр, – сказал я.

– К тому же, – продолжал полковник, – мы будем бить врага до тех пор, пока не поставим его на колени и не сотрем коррупцию с лица...

Полковник, видимо, хотел сказать «с лица земли», но вдруг оказался не в силах договорить фразу, которую так легко было кончить. Я уже готов был сделать это за него, но тут он скорчил гримасу, будто вспомнил что-то очень противное, и шепотом начал ругаться:

– Грязная, дрянная провинциальная девка...

Из этого я заключил, что полковник тоже был повинен в половых сношениях не при исполнении служебных обязанностей, подобно сержанту Какалоковичу, и, быть может, с той же самой девицей, поскольку Какалокович вернулся домой значительно раньше.

Я не хотел быть невежливым, но мне показалось, что, если я хочу оправдать его высокую похвалу, я должен возвратиться к исполнению своих обязанностей, и поэтому я сказал:

– Покойной ночи, сэр, – и зашагал прочь.

А полковник, видно, был немножко не в себе с перепою или еще с чего-нибудь, потому что вдруг стал говорить речь, ужасно похожую на ту, которую однажды произнес по радио президент Соединенных Штатов. Полковник повторял речь президента слово в слово, таким же точно тоном и вообще старался походить на президента. Мне и раньше приходилось слышать, как это делают наши солдаты. Почти каждый солдат в нашей армии любит изображать президента, особенно когда тот говорит, что был на войне, видел мертвые тела американских солдат, ненавидит войну и заверяет американских отцов и матерей, что уж он-то позаботится о том, чтобы их сыновьям, не пришлось идти на войну и так далее и тому подобное. Каждый солдат в нашей армии, который слышал эту речь, хорошо ее по мнит и подчас передразнивает президента или хотя бы повторяет его речь про себя. Я тоже часто повторял про себя эту речь, но ничуть не сердился на президента, а только удивлялся, как это вдруг все обернулось, что даже величайший народный избранник не в силах больше управлять событиями – никто на свете не способен остановить войну, даже президент Соединенных Штатов, политический вождь самого великого, сильного, богатого, свободного и передового народа в мире.

В довершение беды откуда ни возьмись выскочила маленькая дворняжка и стала слушать, как бы желая узнать, из-за чего шумит полковник. Как видно, собачонке этот шум не понравился, потому что она вдруг залаяла на полковника. Наверное, она протестовала, но, может быть, и соглашалась с ним. Как бы то ни было, собачонка не хотела подходить ближе и то отбежала немного в сторону, то снова возвращалась и тявкала не переставая. Полковник услышал, что она тявкает, да как гавкнет на нее в ответ. Это еще подзадорило дворняжку, и шум поднялся невероятный... Не знаю, кто лаял громче, собака или полковник – оба старались изо всех сил. В конце концов победил полковник. Собачонка удрала и больше не возвращалась.

С победоносным видом полковник заорал во все горло:

– К черту демократов, я республиканец!

Я-то сам никогда не умел отличать демократа от республиканца, так что мне это было все равно. Вероятно, он действительно был республиканцем, раз так говорил, но ведь, кроме того, он был полковником, вторым по старшинству начальником в нашем гарнизоне, и мне казалось, что ему не следует об этом забывать. Единственный человек старше его по должности был бригадный генерал, который появлялся только в случае какой-нибудь парадной шумихи – при торжественном открытии нового здания или еще чего-нибудь в этом роде. Мне говорили, что он был воспитанником военной академии в Уэстпойнте. Было ему уже за шестьдесят, войны он никогда не видал, да и не увидит из-за преклонного возраста. Что до полковника, то мне казалось, ему не следует вести себя таким странным образом: с одной стороны, изображать президента, а с другой – тявкать на какую-то жалкую дворняжку.

И так я стоял шагах в двадцати от полковника и слушал. Столько ошеломительных вещей случилось со мной за то время, что я был на посту, и я вдруг подумал, а не застрелить ли мне этого человека – и дело с концом. И какие же дикие идеи рождаются в голове человека, когда он в армии и на свете идет война. Ведь только потому, что у меня в руках заряженная винтовка, а полковник смешал с грязью все то, чему меня учили верить относительно армии, я готов был

его застрелить – как будто от этого кому-нибудь станет легче! Я ужаснулся и решил как-то загладить свою вину: я вернусь к полковнику и посмотрю, нельзя ли удержать его от дальнейших бесчинств. А то еще кто-нибудь услышит, как он изображает президента, лает на собаку и поносит демократов. Это может для него плохо кончиться, а может вызвать и еще более безобразные выходки с его стороны. И я подошел к нему и стал перед ним навтыяжку. Он все еще продолжал поносить демократов. Говорил, что они лицемеры, менялы, приверженцы епископальной церкви и фашисты. Но после того, как я простоял перед ним навтыяжку с полминуты, он замолчал и, казалось, пытался мобилизовать свой слабый рассудок. Наконец он сказал:

– Рядовой Джексон, вы самый образцовый солдат в нашем гарнизоне, и я с утра поговорю с вашим ротным командиром.

– Есть, сэр, – сказал я.

– А вы с кем намерены поговорить обо мне утром?

– Ни с кем, сэр.

Полковник немного помедлил.

– Вы отличный солдат, рядовой Джексон, – сказал он. – Доброй ночи.

– Доброй ночи, сэр, – сказал я.

Судя по тому, как он зашагал по дороге к казармам, он уже совсем отрезвел.

Не прошло и трех минут, как я опять почувствовал раскаяние из-за моей сделки с Лу Марриаччи и заплакал оттого, что скоро стану лжецом. Я проплакал довольно долго, но потом уже не только из-за этого, но и по другим причинам: и из-за того, что отец мой пропал, и из-за этой прекрасной ночи, среди которой разгуливают такие гадкие полоумные люди, как сержант Какалокевич и полковник Ремингтон, вместо людей красивых и умных. А тут еще и Лу Марриаччи, замысливший козни против начальства, чтобы вернуться к своей тоскующей жене, и эта жалкая собачонка, что лает на полковника, вместо того чтобы найти себе друга и пристанище; и Джо Фоксхол, знающий так много о человеческой жизни; и эта звезда в небе, что появилась для одного меня; и тот человек в машине, что едет по шоссе домой к жене, и никто его не схватит за плечо и не скажет: «Ты видел достаточно счастья в жизни – следуй теперь за мной»; тут и то, что президент произнес когда-то речь по радио, и каждый его передразнивает, и все обернулось совсем не так, как он думал...

Черт возьми, для чего существует мир? Что должен делать человек, чтобы спасти свою душу? Когда он будет наконец располагать достаточным временем, чтобы достичь покоя, красоты, любви и правды? Каким образом кто-нибудь вроде меня, рожденного некрасивым и глупым, может стать красивым и умным?

Глава 10

Весли избавляется от необходимости лгать и видит страшный сон

Вскоре подошел грузовик, с него соскочил новый караульный, и мы с ним проделали всю эту дурацкую церемонию по сдаче и приему поста. Я проводил его вокруг участка, потом влез на грузовик и сел рядом с Джо Фоксхолом, который курил сигарету. Я тоже достал сигарету, прикурил, и грузовик двинулся по дороге к казармам.

- Ну, что подельвал? – спросил Джо.
- Ничего особенного.
- На небо смотрел?
- Ну конечно.
- Понравилось?
- Еще бы.
- Думал о чем-нибудь?
- Так, немножко.
- О чем, например?
- О том, как печальна судьба человека.
- Почему вдруг такие мрачные мысли?
- Не знаю. Просто так.
- Окликать пришлось кого-нибудь?
- Раза два. А тебе?
- Славу богу, ни разу.
- Почему слава богу?
- Кто я такой, чтобы спрашивать, кто идет?
- Я иду, вот кто. Всякий раз – Я. Ждать устал?
- Немножко.
- Спать хочется?
- Ни чуточки.
- Я тоже думаю пока не ложиться. Песни старые пел?
- «Валенсию».
- Молитвы читал?
- «Отче наш».
- Вспоминал прежнее время, старых друзей?
- Детство вспоминал. И отца.
- Посмеялся над чем-нибудь?
- Немножко.
- Поплакал?
- Что?
- Поплакал, говорю? Про себя или на самом деле?
- И так и сяк.
- О чем?
- Обо всем понемножку.
- Я тоже, – сказал Джо. – Собачонка не прибежала, не заводила дружбы?
- Ага. А к тебе?
- Ага, – сказал Джо.
- Почему это у них так странно? – спросил я.

– Что ты хочешь сказать?

– Почему собаки с одними заводят дружбу, а с другими нет?

– Они готовы завести дружбу со всяким.

– Говорят, они избегают тех, кто не так пахнет.

– Нет таких людей на свете, которые не так пахнут, – сказал Джо.

– Ну, может, не так пахнут на их собачий вкус.

– Может быть, – сказал Джо. – Только не стоит судить о людях на собачий лад. У нас свой, человеческий запах.

– Возможно.

Мы приехали в караульное помещение, попили кофе с бутербродами, долго сидели и разговаривали. Потом растянулись на койках и уснули. Незадолго до шести нас разбудили, развезли опять на грузовике по постам, и мы простояли еще два часа в карауле. Было почти половина девятого, когда я вернулся в роту, и я прошел прямо в канцелярию, чтобы от дать сержанту Какалоковичу его бумажки. Он сидел за своим столиком и просматривал список больных. Да и у него самого вид был нездоровый. Когда он поднял на меня глаза, я даже не улыбнулся. Никого, кроме нас, там не было, так что я достал бумажки из кармана и протянул ему. Он посмотрел на меня испытующе, как будто хотел угадать, много ли я знаю, и, по-видимому, решил, что я знаю достаточно, потому что сказал:

– Спасибо, Весли.

Я ужасно обрадовался, что мне не пришлось говорить неправду, и благодарил Бога, но, когда я повернулся, чтобы идти, сержант вдруг спросил очень спокойно:

– Лу Марриаччи ты видел?

Я испугался; вот теперь мне придется солгать, и я уже до конца своих дней не вылезу из этой лжи.

– Когда? – спросил я.

– Сегодня утром.

– Нет, не видал, – сказал я, и это было правдой, но очень близкой ко лжи.

– Мне нужно с ним поговорить, – сказал сержант. Вот оно, начинается. Не уйти мне теперь от беды. Я подумал, не спросить ли сержанта, о чем он хочет поговорить с Марриаччи, но тут же отказался от этой мысли. Я боялся, что если стану задавать вопросы, то мне только скорее придется начать лгать, а я хотел отдалить этот момент елико возможно.

Тут сержант и говорит, этак небрежно:

– Лу Марриаччи подлежит отправке домой. Его освобождают от службы.

– Что?

– Ему больше тридцати восьми лет. Вышел в министерстве новый приказ, дня два тому назад. Через несколько дней Лу будет дома. Он включен в список. Увидишь его – передай ему, ладно?

– Хорошо, передам.

Кажется, никогда я не чувствовал себя таким счастливым, как в то утро. Теперь Лу поедет домой все равно, и мне не придется лгать. Меня так и подмывало пуститься скорее в лес, но я не хотел бежать, потому что это могло показаться странным, и я пошел не спеша, как будто просто прогуливался. У меня была бездна времени и прекрасное настроение. Скоро я добрался до леса, потом зашел в самую глубину, где, как я полагал, должен был прятаться Лу. Я стал насвистывать «Валенсию», чтобы Лу услышал и понял, что все в порядке, но, видно, я был еще далеко от него, так как он не показывался. Я уж думал, что забрел в самую глушь, но все продолжал идти и свистеть и ждал, что Лу вот-вот обнаружится.

Время шло, и я стал беспокоиться. А что, если он уже отправился домой? А что, если его арестовали за самовольную отлучку и все пошло прахом, потому что он не знает, что уже освобожден из армии, и притворяется потерявшим память, а меня заподозрят и привлекут к

ответу, и все равно я превращусь в лжеца, несмотря на то что Лу освободили и без моего участия.

Я так оробел, что перестал свистеть. Я искал Лу, робея все больше и больше. Такова моя судьба, да и Лу тоже – опозориться, когда это уже совершенно ни к чему. Я решил, что нужно его позвать, стал выкликать его имя, но мой собственный голос только еще больше меня напугал.

Я сел и призадумался. И видно, тут же уснул, по тому что вдруг очутился дома с отцом, живым и здоровым. Он пел «Валенсию» и ни на кого не сердился. Он был счастлив. Он приготовил один из тех ужинов, какие готовил, бывало, когда мы жили вместе и все у нас было как следует. Мы сидели за столом, ужинали и болтали. Вдруг кто-то застучал в дверь, и я испугался до смерти. Отец открыл дверь, и кто-то сказал:

– Мне нужен Весли Джексон.

– А кто вы такой? – спросил отец.

И человек сказал:

– Вы меня знаете. Мне не нужно вам говорить, кто я такой.

Я так перепугался, что заплакал. Но не так, как плачут наяву. Это был ужасный плач, когда слезы текут ручьем и весь содрогаешься от рыданий, – ибо я знал, кто этот человек, и не хотел с ним идти. Этого не хотел и отец, но ничего нельзя было поделать, и он с горя отхлебнул из бутылки. Человек вошел и стал рядом со мной, но я боялся на него взглянуть. Тогда он взял меня за плечи, ласково потряс и назвал меня по имени, как будто он мой лучший друг.

– Весли, – сказал он.

Тут до моего сознания смутно дошло, что все это я вижу во сне, и – о счастье! – мне стало легче. Я стал припоминать разные вещи, которые подтверждали мне, что я сплю: лес, Какалокович, пьяный ночью и трезвый утром, – и тогда я окончательно убедился, что сплю, и попробовал пошевелиться так и этак во сне, и мне стало лучше, и вот я открываю глаза, а передо мной – Лу Марриаччи: взял меня за плечи и потряхивает.

Я несколько раз кивнул и улыбнулся Лу, но он, видно, был слишком встревожен, чтобы мне улыбаться. Он ни слова не говорил. Только ждал.

– Тебя отпустили из армии, – сказал я. Но он молчал по-прежнему. – Я пришел, чтобы тебе сказать, но не мог найти тебя. И, кажется, уснул. – Я ждал, что Лу что-нибудь скажет, но он, видно, просто онемел, и я продолжал: – Я отдал Какалоковичу эти бумажки, как ты мне говорил, и он сказал спасибо. Он ни о чем меня не спрашивал, так что лгать мне не пришлось. Но он вдруг пожелал узнать, не видал ли я тебя, и я струсил. Я же тебе дал слово и старался его сдержать, только надеялся, что мне не придется из-за этого лгать. Тут он вдруг и говорит, что ты свободен от армии, потому что тебе больше тридцати восьми лет. Вышел, говорит, новый приказ дня два тому назад, и из штаба пришел список. Там и твоя фамилия. Увидишь его, говорит, передай. Вот я и пришел, чтоб тебе сказать. Тут Лу вдруг заулыбался.

– Я тебя полюбил, как люблю своих сыновей, – сказал он. – Самый ты душевный на свете человек.

– Я рад, конечно, что тебя отпускают домой, – сказал я.

– Я для тебя что-нибудь сделаю, – сказал Лу. – Непременно сделаю, и побольше.

– Да ведь тебя отпускает начальство, а не я. Я даже ничего и не сделал.

– Ты хотел сделать, – возразил Лу. – Я для тебя сделаю все, что угодно. Говори, что тебе надо, я сделаю.

– Ничего не придумую, Лу. Но все равно спасибо.

– Подумай крепче, – сказал Лу. – Я позабочусь, чтобы у тебя всегда были карманные деньги, каждую неделю понемногу. Но это ерунда. Ты крепче думай.

– Да не нужно мне денег.

– Ты должен мне сказать, что сделать для тебя, – настаивал Лу. – Я католик. Я просил тебя солгать ради меня, а ведь я знаю, ты не из таких людей, что любят лгать. Но ты сказал, что для меня это сделаешь, потому что желаешь мне вернуться домой. Я должен для тебя сделать все, что ты скажешь, во искупление моего греха. Я всегда что-нибудь делаю во искупление своих грехов, каждого греха!

Тут я вспомнил про отца.

– Может быть, ты сумеешь разыскать моего отца, – попросил я.

– Разыщу, – сказал уверенно Лу. – Расскажи мне о нем.

Я ему все рассказал.

– Ты не волнуйся, – сказал тогда Лу. – Твоего папашу я найду. И позабочусь о нем. Напишу тебе про него и его написать заставлю.

Мы с Лу возвратились в наш лагерь, и он пошел в канцелярию к сержанту Какалоковичу. Три дня спустя я проводил его на станцию. Доминик и Виктор Тоска тоже провожали. Когда Лу пришло время садиться в поезд, у него на глазах показались слезы. Он обнял Доминика и сказал ему что-то по-итальянски, потом обнял Виктора и любовно пошлепал его по щекам. А потом подошел ко мне.

– Ни о чем не беспокойся, – сказал он. – Отца твоего я найду. Я сделаю это прежде всего.

Лу Марриаччи вошел в вагон, а мы трое отправились со станции в бар.

Я выпил много пива и первый раз в жизни напился пьян. Доминик и Виктор Тоска отвезли меня в казармы на такси и уложили в постель.

Глава 11

Гарри Кук и Весли Джексон встречают красивую девушку

Когда мы с Гарри Куком летали на Аляску – спасибо Джиму Кэрби, журналисту, который обстригал для нас это дело со старым чудачком полковником Ремингтоном (а тому очень хотелось попасть в газеты), – мы поклялись друг другу держаться вместе всю войну. Но мы не подумали о том, что у армии свои планы, и когда мы прошли основное обучение, вскоре после отъезда Лу Марриаччи, оказалось, что Гарри Кука отправляют в штат Миссури, а меня – в Нью-Йорк.

– В какую часть Нью-Йорка? – спросил меня Гарри.

– Какалокевич сказал – в Нью-Йорк, в самый город. А тебя – в какую часть Миссури?

– Куда-то возле Джоплина.

Нам обоим, конечно, взгрустнулось, но армия есть армия. Доминика Тоска тоже отправляли в Миссури, а его брата Виктора – в Нью-Йорк. Ребята, которых отправляли в Нью-Йорк, чувствовали себя счастливее тех, кого отправляли в Миссури или куда-нибудь еще – в Луизиану, например. Все жалели, что приходится уезжать, и в то же время с нетерпением ждали отъезда. Понятно, почему уезжавшие в Миссури завидовали назначенным в Нью-Йорк: ведь в Нью-Йорке мечтает побывать каждый американец. Я тоже всегда об этом мечтал, и когда до меня дошел слух, что я получил назначение в Нью-Йорк, я очень обрадовался. Но когда я узнал, что Гарри со мной не поедет, я пошел к Какалокевичу и спросил: раз Гарри не может ехать со мной в Нью-Йорк, так не могу ли я поехать с ним в Миссури? А Какалокевич сказал, что в армии каждого квалифицируют и назначают по принадлежности и он тут ничего поделать не может.

– А как меня квалифицировали?

Какалокевич достал и посмотрел мою карточку.

– Здесь точно не указано, – сказал он. – Но ты поедешь в Нью-Йорк. Наверно, тебя назначат куда-нибудь в канцелярию, потому что ты умеешь печатать на машинке. Ты где научился печатать?

– В средней политехнической школе, в Сан-Франциско.

– А зачем?

– Да просто так, по ошибке. Я пытался им объяснить, что не выбирал стенографии и машинописи, а они не обратили на это внимания, – вот я и выучился и тому и другому – на машинке получше, чем стенографии, но отметки хорошие по обоим предметам.

– А в канцелярии ты работал когда-нибудь?

– На каникулах как-то две недели: проработал в конторе Южно-Тихоокеанской железной дороги. Это отмечено в карточке.

– Вот, наверно, потому тебя и посылают в Нью-Йорк, – сказал Какалокевич.

– А почему я не могу поехать в Миссури с Гарри Куком?

– Потому что ты в армии.

– А что Гарри Кук будет делать в Миссури?

Какалокевич достал карточку Гарри.

– Пехтура, – сказал он. – Культурный уровень у него довольно низкий.

– А у меня?

– Довольно высокий.

– А у вас?

Какалокевич взглянул на меня, но не рассердился.

– У меня пониже, чем у Гарри, – сказал он. – Поэтому меня и держат сержантом в этой глуши. Вы, ребята из роты «Б», уже пятый набор, который я обучил и рассылаю по назначению, а сам я все еще здесь. Тебе повезло – ты едешь в Нью-Йорк. Хотелось бы и мне туда перебраться.

Мы думали, что нас отправят через денек-другой, но окончательно мы собрались только к середине декабря. Перед тем как разъехаться, мы сфотографировались всей ротой, и каждый расписался на карточках, чтобы всем друг друга помнить. Мы с Гарри обещали писать друг другу и много времени провели вместе в городе по увольнительным запискам. Все по увольнительным ходили в Сакраменто, а мы с Гарри – в Розвилл, городишко помельче, но более приятный для времяпрепровождения, потому что там бывало меньше солдат.

Как-то вечером сидим мы за столиком в небольшом приглянувшемся нам ресторанчике, как вдруг входит девушка – красивее я никогда в жизни не видел. Она была так прекрасна, что я обомлел и едва не задохся. Вздумай я с ней заговорить, я бы наверняка не смог произнести ни слова. Смуглая, с длинными темными волосами, спадавшими на плечи и перевязанными красным бантом, она была, наверно, испанка или испаномексиканка; такая красивая, что мне стыдно было на нее смотреть из-за того чувства, которое она во мне вызывала. Мне хотелось остаться с ней наедине, сорвать с нее одежды. Она подошла к стойке,хватила рюмочку – и не чего-нибудь, а чистого виски – и при этом успела несколько раз обернуться и оглядеть зал.

Ну а мы с Гарри сидим себе, разговариваем про Аляску, вспоминаем, как мы там веселились и как я удивился, когда увидел эскимоса Дэна Коллинза. Не хотелось нам друг другу показывать, какие чувства вызвала в нас эта девушка, и мы все старались вести разговор как ни в чем не бывало.

– Красный Коллинз, – говорит Гарри. – Правда, он совсем был не похож на эскимоса?

– Ты хочешь сказать Черный Дэн, – возразил я. Я понял, что он обмолвился оттого, что заметил красный бант у нее в волосах, а сам я был поражен ее черными волосами и поэтому тоже оговорился, но и виду не показал перед Гарри.

– Ладно, как бы его там ни прозывали, – сказал Гарри. – А здорово мы тогда позабавились в Розвилле!

Я едва обратил внимание на то, что он сказал Розвилл вместо Фербенкса, потому что знал и без того, о чем идет речь, так не все ли равно?

Вот уж никогда не думал, что вещи, которые для меня так много значат, могут вдруг сразу потерять всякое значение! Меня это ужасно удивило. Я все смотрел и смотрел на девушку сквозь одежду и видел ее голую, и чувствовал, что сейчас ослепну. Мне было очень стыдно выдавать свои чувства, но оттого, что я изо всех сил старался их скрыть, я только еще больше смущался, и это еще больше бросалось в глаза. Так я распалился, просто с ума сойти. Мне было решительно на все наплевать. Я позабыл о пропавшем отце. Не мог я думать о нищих, обездоленных, убитых горем или больных. Что для меня было счастье или несчастье, жизнь или смерть – и вообще все на свете! Я горел одним только страстным желанием – приблизиться к девушке, хотя это было бы величайшей глупостью.

Девушка опрокинула еще рюмочку, а мы с Гарри продолжали беседовать, будто не были сражены насмерть ее красотой. О чем мы говорили, я понятия не имею, вероятно, это было нечто совершенно несуразное. Нам было все равно, о чем ни разговаривать, потому что разговор был только ширмой для наших переживаний, о которых говорить было невозможно. «Так вот что случается с людьми, – думал я. – Вот отчего они шалеют. Но оно того стоит, пожалуй».

Первое, что я сообразил, это то, что она подошла к нашему столику и выпивает вместе с нами. Ну а затем случилось нечто поразительное: я возненавидел Гарри за то, что он может так непринужденно с ней разговаривать, а я не могу. А еще я позавидовал его приятной наружности. Потом я решил, что эта девица обыкновенная шлюха, но мне не стало от этого легче. И я подумал: «Культурный уровень у Гарри довольно низкий». Немного погодя я сказал

себе: «Такими вещами могут заниматься только животные», но в глубине души сознавал, что я просто пытаюсь оправдать свое собственное уродство. «Когда-нибудь, – сказал я себе, – я добьюсь чего-нибудь в жизни, а Гарри Кук так и останется ничем, каким-нибудь несчастным солдатом-сифилитиком».

Но что бы я себе ни говорил, мне ничуть не становилось легче, и я отдал бы все на свете, лишь бы поменяться с Гарри местами, потому что он так нравился этой девушке.

Тут вдруг она обратилась ко мне.

– Что это с вами? – сказала она. – У вас такой вид, будто вы проглотили какую-нибудь гадость.

«О боже! – подумал я. – Лучше бы мне провалиться сквозь землю».

Никогда в жизни я не чувствовал себя таким ничтожеством. Мне очень хотелось встать и уйти, но я чувствовал, что стоит мне встать, как я брошусь бежать и, чего доброго, еще споткнувшись и упаду, как последний болван. Я думал, Гарри будет смеяться надо мной, потому что, будь я на его месте, а он – на моем, я бы над ним наверняка смеялся или уж, во всяком случае, гордился бы собой. Но Гарри надо мной не смеялся. Он все улыбался девушке, но, взглянув на меня, стал серьезным.

– Хочешь, пойдём отсюда, – сказал он.

Он говорил так тихо, что я едва расслышал.

Я не мог выговорить ни слова, и тогда Гарри встал и сказал:

– Пошли.

Мне стало мучительно стыдно, что я оказался такой скотиной.

– Ну нет, черт возьми, – сказал я. – Ты не должен идти. Я поброжу немножко по городу. Потом за тобой зайду.

Теперь я мог гордиться собой. Я не испытывал ни к кому неприязни, и девушка уже не вызывала во мне таких чувств. Я даже посмотрел на нее и улыбнулся – и, конечно, она улыбнулась мне в ответ.

– Может быть, попозже увижу вас обоих, – сказал я.

Я вышел из ресторанчика. И не побежал. Не спотыкался и не падал. Мне больше уже не хотелось сорвать одежды с девушки, и вещи опять обрели для меня свой смысл. Я постоял перед рестораном, стараясь привести в порядок мысли, потом пошел вдоль по улице. Не успел я дойти до угла, как услышал, что Гарри кричит мне вслед:

– Эй, Джексон, погоди!

И дальше мы пошли вместе. Мне хотелось ему сказать многое, но я не знал, с чего начать. Ну как сказать товарищу, что сожалеешь о том, что возненавидел его? И за что? За то, что у него низкий культурный уровень, за то, что он красив, а ты нет, за то, что он нравится женщинам, а ты нет, и все такое прочее?

Наконец я сказал:

– Славная девушка. Жалко, я был с тобой и испортил тебе все дело.

– Свинья она, а не девушка, – сказал Гарри.

Но по его тону я понял, что ему хочется к ней вернуться, и я сказал:

– Пойди к ней, Гарри. В казарме увидимся.

Вместо ответа Гарри ухватился за фонарный столб, и его вырвало в сточную канаву.

Потом он сказал:

– Это от вина, которое мы пили за ужином. Пойдем обратно в лагерь.

Мы прошли пешком все шесть миль до лагеря. Сначала мы долго молчали, потом разговорились про Аляску, потом запели, и когда наконец добрались до казармы, все опять было хорошо, и мы обещали писать друг другу и встретиться в Сан-Франциско после войны.

Глава 12

Весли вспоминает последние денечки свободы и первые дни в неволе

Когда я в Сан-Франциско проходил медицинский осмотр на Маркет-стрит, 444, был там один старый доктор-штатский, который спрашивал:

– Есть у вас какие-нибудь жалобы?

И я подумал: «Я могу жаловаться только на то, что жив и здоров и не знаю, как помочь этому горю».

Но я понимал, что так отвечать нельзя, и сказал, что у меня все в порядке. К тому же он очень спешил, так как осмотреть нужно было человек семьсот-восемьсот, а тут уж мешкать не приходится.

Не успели мы опомниться, как уже прошли всю процедуру осмотра и сидели на скамейках по одну сторону обширного зала. Кто-то выкликнул по фамилии какого-то мексиканца, и ему было велено сесть по другую, свободную сторону зала. Потом тот же человек выкликнул меня и велел мне сесть рядом с мексиканцем. Мексиканец сказал:

– А я знаю, почему нас посадили сюда, в стороне от других.

– Почему? – спросил я.

– Потому что мы сидели в тюрьме.

Ну, он-то и верно в тюрьме побывал, а я нет, и его не приняли в армию и отослали домой, а мне сказали пересесть на прежнее место.

Немного погодя каждого, кто проходил осмотр, стали спрашивать, что он хочет: отправиться сразу на распределительный пункт в Монтерей или прежде получить двухнедельный отпуск. Многие из ребят предпочли отправиться сразу, потому что слышали, что первые четыре-пять недель самые тяжелые и чем скорей от них отделаться, тем лучше, но я выбрал двухнедельный отпуск, потому что хотел попытаться разыскать отца и попрощаться с ним. И еще мне хотелось пройтись хоть разочек по Сан-Франциско, как до войны.

Помню, впереди меня стоял один парнишка. Его спрашивают, что он хочет: двухнедельный отпуск или прямо в Монтерей, а он не понимает, и тогда человек в военной форме, который всех спрашивал, говорит:

– Куда ты хочешь ехать?

– В Окленд, – отвечает парнишка.

Военный записал его на отпуск, но это было совсем не то, чего хотел этот парень. Он хотел домой, а жил он в Окленде.

– Можно теперь идти домой? – говорит он.

– Домой? – сказал военный. – Да ведь вас сейчас приведут к присяге, вот только придет майор.

Ну, этого бедняга совсем уж не понял. Ему бы нужно отойти в сторонку, чтобы все остальные могли сообщить военному, что они выбрали, а он стоит – и ни с места.

– Я хочу домой, – говорит он.

– Проходите, – сказал военный. Ему предстояло еще много работы, и он хотел поскорее освободиться.

– Я противник войны по своим убеждениям, – заявляет тогда этот парень.

– Проходи, – сказал военный. – Ты теперь в армии.

Парнишка отошел, и все мы стали твердить друг другу:

– Ты теперь в армии.

Майор явился только через три часа. Он был не совсем трезв. Видно было, как он устал и как все ему надоело. А все-таки он прочитал надлежащие места из военно-судебного кодекса и прочую ерундистику. После этого мы приняли присягу и теперь уже наверняка были в армии.

Сказать по правде, я чувствовал, что попал в западню. Я чувствовал себя как бык в загоне, который видит, что дело неладно, и начинает побаиваться, как бы его не погнали на бойню.

Но я получил свои две недели и благодарил Бога хоть за это. Я обошел все трактиры и пивные, куда обычно заходил мой отец, и спрашивал о нем, но никто его за последние дни не видел и не знал, где он. Я искал отца по всему городу, в особенности на улицах, куда часто забредают бездомные, – на Третьей улице и на Ховард-стрит и вообще по всему этому району. Я повстречал там множество людей, которые могли бы сойти за моего отца, но самого отца так и не видел.

Дни и ночи проходили, а я не знал, как лучше их использовать. Едва примусь за книгу, которую мне давно хотелось прочесть, и тут же вспомню, как мало времени у меня остается, вскакиваю и тороплюсь на пляж, брожу по берегу, ищу красивые камешки, смотрю, как солнце в море заходит. И вдруг придет в голову, что нужно же кому-нибудь сказать «прощай», а ведь я никого не знаю.

Я приходил в отчаяние и говорил себе, что должен найти девушку, которой мог бы сказать прощай. Оставлял пляж или библиотеку, садился на трамвай и ехал куда глаза глядят в поисках девушки, которую мог бы полюбить, а потом с ней проститься. И мне попадались такие, которых я легко мог бы полюбить, но когда нужно было подойти и познакомиться, я не мог собраться с духом.

Под конец я вспомнил одну девушку, которая училась вместе со мной в политехнической школе. Я целый год тогда был тайно в нее влюблен. Теперь я решил ее навестить.

Было начало октября 1942 года. Погода стояла чудесная, ясная; по вечерам с океана напал прохладный туман. Я отыскал дом, где жила девушка, уже перед самым заходом солнца. Но, дойдя до ее дверей, я решил, что, видно, сошел с ума. Ведь я даже не знал, замечала ли меня когда-нибудь эта девушка – скорее всего, что нет, – а тут я к ней вдруг являюсь и спрашиваю, нельзя ли ее полюбить, чтобы было с кем попрощаться. И все-таки я нажал кнопку звонка – и кто бы вы думали мне открыл? Да сама эта девушка, Бетти Бернет, еще более прелестная и гордая, чем прежде! Ну, конечно, ей было некогда. Хорошеньким девушкам всегда некогда, если вы им не нравитесь.

– Узнаете? – сказал я. – Весли Джексон. Политехнич...

– Боюсь, что нет, – ответила она. – И мне ужасно некогда, я безумно спешу.

Она захлопнула дверь, на этом все кончилось. Я поплелся на пляж.

Не скажу, чтобы мне было очень жалко себя или что-нибудь в этом роде, просто меня зло брало, как я мог впасть в такую панику из-за того, что у меня нет любимой девушки, с которой я мог бы проститься. А когда я зол на себя, я становлюсь куда сильнее, чем когда полон надежд и доволен собой.

После этого я решил написать письмо маме. Несколько раз я принимался за дело, но мне было стыдно, и поэтому у меня ничего не выходило. Ведь я не написал ей ни слова за все то время, что мы были в разлуке. А теперь вот, когда меня взяли в армию, я вдруг вздумал посылать ей письма. Мне показалось это недостойным, и я не стал ей писать.

Маму я любил всегда, и отец мой тоже.

– Прекрасней женщины, чем ваша мать, и не сыщешь, – говорил он. – И зачем только она вышла за меня! И зачем я сделался вашим отцом!

Вот, ей-богу, чепуха-то!

И вот счастливые денечки моего отпуска остались позади. Утром я простился с хозяйкой дома, где мы жили с отцом, но она была озабочена получением квартирной платы с одного из своих постояльцев, слишком взволнована из-за шести долларов, которые он был ей должен,

чтобы сказать мне: «Берегите себя!» – или еще что-нибудь в этом духе. Я сложил отцовские пожитки в несколько ящиков, и хозяйка согласилась хранить их в подвале, пока не явится отец или пока я не возвращусь с войны. И это было все.

Доехал я на трамвае до угла Третьей улицы и Маркет-стрит, пересел на вокзальную линию и отправился на Южно-Тихоокеанский вокзал. Там собралось уже много народу, и прибывало все больше и больше. Вскоре мы погрузились в вагоны, но поезд не трогался. Я стал беспокоиться, отчего мы не едем. Не знал я тогда, что в армии так оно и будет все время – поспеши да погоди, как говорят солдаты. Мы просидели в вагонах столько времени, что можно было пролететь полдороги до Аляски, прежде чем поезд двинулся с места. Я припомнил сотню разных дел, которые должен был сделать за эти прошедшие две недели, но так и не собрался, – и вот наконец поезд тронулся.

На платформе было много народу, и все махали на прощание уезжающим. Вдруг раздался какой-то треск, и я пошел узнать, что случилось. Оказывается, один человек разбил кулаком окно вагона. У него из руки струей била кровь, и никто не знал, что нужно делать. Наконец кто-то сорвал с себя пиджак, потом рубашку и рубашкой обернул ему руку. Все были очень взволнованы, и всем было как-то не по себе. Поезд остановился, и тут оказалось, что мы еще не выехали за пределы вокзала. Я поинтересовался, как все это случилось, и вот что мне рассказали.

Этот человек немножко выпил, а с ним за компанию и женщина, которая его провожала. Он стоял возле окна и смотрел на нее. Тут она вдруг заплакала, а он закричал на нее: «Не реви!» – но она никак не могла остановиться. Ну, человек рассердился и стал кричать, чтобы она перестала, но чем больше он кричал, тем сильнее она плакала. Тогда этот человек совсем взбеленился, сжал кулаки и стал ей грозить, чтобы она не ревела. Тут поезд тронулся, а он все махал кулаками и до того размахался, что угодил прямо в стекло. Прежде чем подоспела первая помощь, он потерял так много крови, что лишился сознания, и положение его было очень серьезно. Мы простояли на вокзале минут сорок пять, потом прибыла санитарная машина, пострадавшего забрали и увезли.

О распределительном пункте в Монтерее рассказывать особенно нечего, кроме того, что я все время чувствовал себя преотвратительно: ну что это за жизнь, когда людей гоняют, как стадо овец, на всякие осмотры, испытания, прививки, за получением обмундирования и снаряжения, когда приходится стоять в хвосте, чтобы поесть, постричься, вымыть руки, посидеть в уборной, принять душ. Живешь, как скот. Меня тошнило все семь дней и ночей, что я там пробыл.

Много странного произошло там за эту неделю. Видел я, как один парень каждый вечер вынимал стеклянный глаз, разглядывал его своим здоровым глазом, обмывал и приговаривал:

– Я не левша, все делаю правой рукой, а правый глаз у меня стеклянный. Ну какой, черт возьми, из меня солдат?

Я слышал, как люди кричат по ночам, видел, как они валяются на своих койках целыми днями, сходя с ума от тоски. Но были там и комики, особенно итальянцы и португальцы из долины Санта-Клара.

Была среди нас и одна знаменитость. Этот парень снимался в кино, и многие ребята его узнавали, но я его припомнить не мог. Так вот, он ненавидел армию больше всех других. У него водились деньжата, он вечно резался в кости с неграми и филиппинцами и повышал ставки со второго или третьего круга. Выиграет он или проиграет, он всегда оставался самим собою, и было видно, что играет он не для денег, а просто чтобы как-нибудь отвлечься, позабыть о том, что он в армии. Он был намного старше всех нас, лет этак тридцати пяти. В разговоре он частенько поминал то одного, то другого воротилу из мира кино, неизменно добавляя: «Этот грязный мошенник и сукин сын!»

Я слышал, как он обругал одного за другим десятка два или три директоров и начальников всякого рода. Он не был киногероем, он выступал в характерных ролях и в жизни ничем не выделялся. Не скажи вам кто-нибудь, что он киноактер, вы бы ни за что не догадались. А когда ему приказали постричься наголо, как полагается по уставу, это уже совсем не понравилось, и он стал поносить новую большую партию голливудовцев. Начал он с кинодельцов, но тут же перешел на киногероев, потом принялся за второстепенных актеров, потом за кинорежиссеров и наконец, когда подошла его очередь стричься, добрался до киноактрис, но и этих последних обзывал не иначе как «сукины сыны». Он припомнил всех хорошеньких женщин, которых когда-либо знал, с которыми когда-либо работал, и всех без исключения обложил. Был там в казарме один вольнонаемный парикмахер-китаец, которому как раз пришлось стричь актера. Все парикмахеры там были паршивые, неумелые, не то что у нас в Сан-Франциско, но этот китаец был совсем никудышный. Когда актер встал со стула, посмотрел на себя в зеркало и увидел, что китаец сделал с его головой, он до того взбеленился, что уж и не знал, кого бы еще обложить в Голливуде, и стал честить снимавшихся в кино животных, собак и лошадей.

Нескольким ребятам из Санта-Клары он платил по пятьдесят центов в день, чтобы они при встрече отдавали ему честь, а те и рады стараться. Он же, по уговору, не обязан был им отвечать.

– Офицеры обязаны отвечать на приветствие, – говорил он. – А я за свои полдоллара в день желаю, чтобы мне отдавали честь неукоснительно, но уж сам в ответ и пальцем не шевельну, сукины вы сыны.

Эти семь дней и ночей мне показались самыми долгими в моей жизни. Сплошной кошмар! Я обрадовался, когда нас погрузили в старый, разбитый автобус и отвезли в лагерь под Сакраменто. Наш путь проходил недалеко от Сан-Франциско, я думал, у меня разобьется сердце, но, к счастью, мы ехали на север, другой дорогой, через Хэйворд и Окленд, так что увидеть еще раз Сан-Франциско мне тогда не пришлось.

А когда мы с Гарри Куком летали на Аляску, само лет приземлился в городском аэропорту Сан-Франциско, и мы вышли на одну-две минуты, но города не видели, видели только его огни издали. Но уже оттого, что мы были поблизости, мы были счастливы, потому что Сан-Франциско – это родина.

Человек, с которым я проводил большую часть времени в Монтерее, был Генри Роудс, потом его назначили в одно место, а меня – в другое. Если Генри прочтет когда-нибудь эти строки, пусть он вспомнит меня. Я надеюсь, что у него все в порядке. Надеюсь, что его отпустили из армии и он вернулся к своей старой работе на Монтгомери-стрит в Сан-Франциско.

Надеюсь я, что и каждый, призванный когда-нибудь в армию, нынче жив и здоров, что его уже отпустили домой и дома у него все в порядке. Я имею в виду и русских, и немцев, и итальянцев, и японцев, и англичан, и людей всех других национальностей мира. Военные и политики любят в своих речах называть мертвецов храбрыми, доблестными или как-нибудь еще в том же духе. Вероятно, я не понимаю, что такое мертвец, так как единственные мертвецы, которых я могу себе представить, это мертвецы мертвые, и называть их иначе – это значит, по моему, хватить через край. Живых храбрецов я еще допускаю, но это все народ беспутный.

Глава 13

Рота «Б» задает вечеринку, и Доминик Тоска прощается со своим братом Виктором

Когда нам стало известно, куда каждого из нас отправляют, атмосфера в лагере омрачилась, оттого что многие из нас, успевшие сдружиться между собой, должны были теперь расстаться. Мы и так уже были разлучены со многим из того, что для нас дорого, а тут еще предстояла разлука с друзьями, которых мы приобрели в армии. Сержант Какалокович понимал, что мы переживаем, и как-то вечером сказал:

– Если вы, ребята из роты «Б», хотите перед отъездом устроить вечеринку, ладно, валяйте, только поспешите, а то как бы кто-нибудь из вас не уехал прежде, чем успеет опомниться.

Мы тут же собрали деньги, купили побольше пива и на следующий день устроили вечеринку.

Во время вечеринки подошел ко мне Доминик Тоска и сказал:

– Пригляди там за моим братишкой вместо меня, ладно?

– Разумеется, – сказал я.

– Лу Марриаччи тебя полюбил, а коли он тебя любит, значит и я люблю, так что ты теперь приглядывай вместо меня за Виктором, потому что он мой брат. Я его сейчас приведу.

Доминик сходил за братом и говорит:

– Вот, Виктор, заруби себе на носу – это будет твой товарищ в Нью-Йорке.

Он обнял нас обоих и крепко стиснул. Мы с Виктором рассмеялись, потому что и без того были всегда хорошими товарищами.

– Детки, – сказал Доминик, – будь мы во Фриско, я бы с вами не стал и водиться. А теперь вот правительство от вас требует, чтобы вы выиграли войну.

Оттолкнул нас и пошел. Взял еще бутылку пива и выпил. Потом возвратился, погрозил Виктору пальцем и закричал:

– Эй, ты! Будь осторожен! Следи за собой. Не трусь. Пиши маме. Молись. Ходи на исповедь. Понял?

– Ладно, Доминик, перестань, – сказал Виктор.

– Слушай меня, – продолжал Доминик. – Будь хорошим мальчиком. У тебя слишком смазливая рожица для такого большого города, как Нью-Йорк. Будь осторожен. Не отходи от товарища. Ну, Весли, теперь мы не скоро увидимся. Води дружбу с братом в Нью-Йорке. Сообщи, если что случится.

Он обратился опять к Виктору.

– Ладно, – сказал он. – Прощай, детка. Только прежде спой песню.

– Какую?

– Ты знаешь. Спой своему брату еще раз напоследок.

И Виктор запел «Все зовут меня „красавчик“».

Доминик слушал, и слезы выступили у него на глазах.

– Мама зовет тебя так, – сказал он.

Он совсем расстроился, безнадежно махнул рукой и принялся опять за пиво.

А тут к нам подошел Какалокович послушать.

– Почему ты не поешь вместе с ним? – сказал он мне. – Это хорошая песня, пой. Или ты не умеешь?

Я был немного навеселе и стал подпевать Виктору. Какалокович с помощью Доминика собрал вокруг нас кучку ребят, и скоро песню подхватила почти вся рота «Б». Но сколько бы

народу ни пело, все равно это была песня Виктора, и он пел ее и на этот раз лучше всех. Песня эта была как раз по нему, и он пел ее всегда одинаково – искренне и серьезно, а остальные просто забавлялись, подшучивая и над песней, и над собой.

А вслед за Виктором спел свою песню и Ник Калли: «О Боже, прояви всю доброту свою...» – и ему тоже все подпевали.

Вечеринка прошла превесело, потому что офицеры на нее допущены не были. Все здорово перепились и дали клятву не забывать друг друга. Гарри Кук подошел ко мне и сказал:

– После войны мы непременно встретимся в Сан-Франциско. Пиши, не забывай.

Два дня спустя Гарри Кук, Доминик Тоска, Ник Калли, Вернон Хигби и много других ребят из нашей роты отправлялись в Миссури. Когда пришла очередь Доминика садиться на грузовик, чтобы ехать на вокзал, а оттуда постепенно все ближе к войне, Виктор Тоска, как всегда, спал на своей койке. Я тоже сидел на койке и глядел себе под ноги, когда услышал, что кто-то вошел. Я поднял глаза и увидел Доминика. Он двинулся было по направлению к брату, но тут же остановился и долго на него смотрел. Потом повернулся и подошел ко мне. Я вышел с ним из барака, и он сунул мне в руку пачку денег.

– От Лу и от меня на карманные расходы вам с Виктором, – сказал он. – У меня духу не хватило подойти к нему и попрощаться еще раз. Так ты передай ему мой привет, хорошо?

– Ладно. Передам вместе с деньгами.

– Нет, нет, – сказал Доминик. – Деньги у него есть. Тратьте их сообща. Только ты за ним приглядывай. Оба вы еще младенцы, но у тебя хоть что-нибудь есть под макушкой. А у него все в сердце, он и вовсе без головы.

Доминик меня обнял и стиснул, потом побежал к ротной канцелярии, где стоял грузовик.

Я тоже думал туда пойти, взглянуть последний раз на своего Гарри Кука, но на меня нашло такое уныние, что я решил лучше пересчитать деньги, вернуться в барак и посидеть на койке. В пачке оказалось десять бумажек по пять долларов. Лу Марриаччи присылал мне каждую неделю письмо с бумажкой в десять долларов, но отца моего ему найти пока не удалось. Он прислал мне уже три письма, так что всего у меня набралось восемьдесят долларов, не считая того, что осталось от моего армейского жалованья. Если бы я знал, где отец, я бы отослал ему эти деньги, потому что ему они нужнее. Он мог бы покупать себе выпивку повыше сортом для разнообразия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.